

Сергей Юрьенен

СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН
НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ



Sergei Yourienen

**SNEAKER
OF THE BORDER**

NOVEL



C.A.S.E./THIRD WAVE
Publishing House
Paris — New York
1986

Сергей Юрьенен

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН



Издательство
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
Париж — Нью-Йорк
1986

Редактор Д.Квачевская

Художник В.Длуги

Обложка В.Доброва

© Все права сохраняются за издательством «Третья волна»

© All rights reserved by

C.A.S.E./Third Wave Publishing 1986

Library of Congress Catalog No. **86-24980**

ISBN: 0-937951-06-4

Памяти
Екатерины Александровны Грудинкиной,
в замужестве Юрьенен
(1895, Санкт-Петербург —
1979, Ленинград)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СССР: ПРОЛОГ

К утру бабушке стало лучше.

Настолько, что с помощью своей старухи Воронцовой-Пистолькорс, своей подруги и сиделки, она совершила омоложение, облачилась в чистую батистовую сорочку с истончившимися и тронутыми желтизной кружевами, сменила постельное белье и заплела свои косы кренделем — совсем как на выпускном гимназическом снимке 1913 года.

Весь день я просидел на кухне нашей коммуналки с учебником истории КПСС (у меня экзамены). То и дело приходилось отрываться и впускать посторонних; и каждый из визитеров подолгу оставался с бабушкой наедине в нашей с ней «голубятне» — так называет она геометрически весьма причудливую мансарду, сформированную из нормальной и даже, говорят, просторной комнаты ее французской бонны посредством многократных «уплотнений» нашего жизненного пространства начиная с Октября Семнадцатого года.

Вызывала меня бабушка к себе всего два раза. Попросила накрошить дворовым голубям, недоуменно толкущимся за стеклами на карнизе, а также вынести блюдечко молока для брюхатой лестничной кошки, безымянной и ничьей. При втором нашем свидании, уже на закате, когда во дворе напротив огненно горело чердачное окно, бабушка еще раз рассказала мне о моем отце и ее сыне, сталинском соколе, сгоревшем уже после Победы на возвратном пути из разведоблета охваченной экономическим «чудом» западной части Германии. Рассказала она мне

сто раз слышанный фамильный анекдот о том, что отец мой оплешивел от шлемофона и во время войны, когда в блокадном Питере вымер миллион горожан, растолстел от «сидячего образа боя», сбивая юнкеры и мессершмидты. Мои волосы бабушка похвалила, велела во исполнение родового поверья утираться после бани исподом чистой рубахи, не заводить малюток «в этом Некрополе», просила, чтобы я помог ей снять с пальцев фамильные перстни, чего и в блокаду ей не удалось, чтобы обменять на хлеб, разгневалась и стала задыхаться так, что ей снова пришлось давать кислородную подушку. Врачиха снова стала уговаривать бабушку ехать в больницу — безуспешно. «Нет, я помру дома!»

Пришли еще двое, мой крестный отец гардеробщик Павлуша и кузен бабушки Сириль — Кирилл Аполлинариевич С***, чье имя есть в британском карманном издании «Dictionary of Dances». Павлуша, беспальный старик, надел нарядный костюм из темно-синего габардина, сшитый еще в эпоху НЭПа, до Большого террора. Накрахмаленная рубашка, галстук в горошек — он всегда был комильфо, мой крестный, а сейчас он — одевающий клиентов в пивбаре имени Стеньки Разина на Невском и тем самым прирабатывающий к мизерной пенсии — нацепил все свои ордена и медали от солдатского Георгиевского креста за первую германскую до «За оборону Сталинграда» и «За взятие Праги». Он перекрестил меня, захлопал, обнял, стал выговаривать, почему я не прихожу пивка попить к нему, уж он давно для меня копченого леща держит под прилавком. После чего ушел к бабушке. А с Кириллом Аполлинариевичем я поздоровался сухо. Из нашего рода он единственный преуспел в этой жизни. Оттанцевавшая звезда сталинского балета, он долгое время был мэтром и руководителем Театра оперы и балета имени Кирова (б. Императрицы Марии), имел роскошную квартиру у Татарской мечети, «ЗИМ» с личным шофером, звания, почести, заграничные поездки и с нами не знался, как с «надменной голью» — до тех пор, пока не ушли его на пенсию как «запустившего идеологическую работу в труппе». Дело в том, что его «прима» во время гастролей по Соединенным Штатам выбрала свободу. Сейчас, на кухне нашей коммуналки, он, промокая глаза, спросил, каковы мои виды на будущее, и, не слушая меня, предложил переехать к нему:

— Я могу вам обеспечить синектуру, знаете, Алексис? Ну там,

секретарем вас к себе оформить. Я как раз затеваю мемуары, а вас, я слышал, влечет к беллетристике... Так что мы могли бы посотрудничать, нет? А хотите после школы продолжить образование, я ведь и протекцию могу вам оказать в Ждановский наш университет. Впрочем, мы с вами после об этом, после...

В дверь (она у нас прямо из кухни выходит на лестницу) постучали с возмутительной грубостью. Я откинул крюк. Это был шофер, возивший крупного обкомовского босса, секретаря по идеологической работе, занимавшего бельэтаж нашего дома.

— Вы, что ль, внук?

— Я.

— Шеф вас хочет на пару слов.

Шеф, краснорожий толстяк лет пятидесяти, поджидал меня под ярким светом люстры на нижней мраморной площадке. Дверь в его апартаменты была открыта. Он спросил:

— Ну что, брат, как там Екатерина Алексеевна?

— Плохо.

— По-прежнему отказывается в больницу?

— Угу.

— А то я мог бы, знаешь, позвонить... — Пауза. — Да, так я, значит, чего: убываю сейчас на дачу, к семейству. Решить бы, значит, вопрос — ну, с картиной этой.

— Какой картиной? — не понял я.

— Ну, вот что в зале у меня висит. Она ж ведь Екатерины Алексеевны собственность. Как она распорядилась, не знаешь?

— Не знаю.

— Сколько раз я предлагал, ну, не хотите Эрмитажу продавать, давайте я у вас выкуплю... Значит, неизвестна воля? Ну ладно, потом обговорим эти дела. Я вот что: давай-ка спускай бабушку ко мне в залу. — Я посмотрел на него с недоумением. — Давай-давай, брат! Это ж ведь ее, можно сказать, фамильное гнездо, палатко этот. Пусть хоть, значит, попрощается. А то как-то, знаешь, нехорошо получается. А? Ну, ты-то, брат, как комсомолец, этого не усекаешь, так что поверь мне: Екатерине Алексеевне это будет приятно. На Неву взглянуть, и все такое. Она же у нас, можно сказать, ветеранша Империи Российской. И потом лично я твою бабушку всегда уважал, несмотря, значит, на классовую борьбу. Домработницу я предупредил. Так что давай, подсуетись!

Врач ничего против этой идеи не имела, а бабушка, полежав с

закрытыми глазами, рассудила, что отказывать неудобно и попросила помочь ей перебраться в канапе. Силами стариков мы спустили канапе с бабушкой по лестнице и внесли в зал обкомовской квартиры, три просторных венецианских окна которого выходили на Дворцовую набережную, Неву и Петропавловскую за ней крепость. Шла вторая декада июня, и в Северной Венеции (как упрямо называла она злополучную свою столицу) уже начались белые ночи. Стоя за канапе, мы все вместе с бабушкой созерцали противоборство двух зорь над сияющим имперским простором реки. Течение вод казалось неподвижным. Из-под стен Петропавловки бухнула пушечка: полночь...

— Беги, — сказала бабушка, — беги из этого Некрополя. Ты меня слышишь?

Я утвердительно поцеловал крендель седых ее кос.

— Москва, говорят, живой город. Вот туда и беги. Ну, все, милая, — обратилась она к домработнице, — спасибо за гостеприимство, но дома, вы уж извините, лучше: голубки за окном воркуют. А от этого ландшафта мне и в детстве было как-то не по себе.

— Вы уж не сердитесь, что не ко времени, — сказала домработница, — но товарищ Краснобаев просил выяснить. Относительно картинки вашей.

Мы развернули бабушку. Домработница включила свет, и хрустальные люстры ярко осветили картину в тяжелой золотой раме, висящей на цепи. На сильно потемневшем полотне с трудом можно было разобрать крылатого Эрота, нагло попирающего обломки мира. Бабушка оглядела картину и проворчала:

— Ишь, проказник!.. Павлуша, подойди!

Мой крестный робко сделал шаг вперед.

— Поклонись ему, внук, — сказала бабушка. — В пояс, в пояс! Вот так. Картинку эту, Павлуша, себе возьмешь. Корреджио там не Корреджио, но деньги за нее от Эрмитажа получишь. Дом себе поставь у нас, в Новгородской, и доживи, как человек. Негоже в твоём возрасте ладонь за двугривенным подставлять. Вот моя воля. Все слышали? А ты, внук, знай, что папа Павлушин, истопник наш Петр Палыч, укрыл меня, твоим отцом беременную, в бесовский тот ноябрь, когда сестру нашу насильовали и в Мойке вон топили после. В угольных мешках, как кутят... Царствие ему небесное! Знаю, что не положено тебе,

внук, но осени и себя в память раба Божьего, который род твой от Антихриста спас!

Я поспешно перекрестился — и она, тяжело дыша, закрыла благодарно глаза и повелела:

— Домой...

Мы вынесли бабушку на площадку, и тут она схватила меня за руку. Все отступили.

— Ближе, ближе, — хрипела бабушка. — Ухом!.. Разыщи его, внучек, — зашептала она.

— Кого, моя родная?

— Он тебя переведет через финскую границу. А нет, на Дон беги, в Крым!.. В театре анатомическом вели, чтоб пальцы отрезали, и перстеньки возьми. Чужбина чужбиной, а на первое время в Париже хватит. Пустите! — Она вырвала свою руку и стала кусать свои перстни беззубым ртом, но задохнулась... — Заклевали, эх, заклевали Белых Лебедей... Неужто и тебя, внучек мой, заклюют?

Ее корявые пальцы зацепились за цепочку на шее.

— Это тебе, — дергала она, — а мне пускай твой наденут крестильный. Самшитовый, он в спичечной коробочке за образами. Снимай, когда грешить будешь. — Внезапно глаза ее прояснились. — Ну, родные, встречайте: ваша!

Последним усилием она сорвала с себя крест и умерла, крепко сжав мне руку.

Я вскочил. Кто-то схватил меня, я вырвался. Сбежал по парадной лестнице и стал колотиться об двери на набережную, пока меня не остановили: «Опомнитесь, голубчик: парадный выход заблокирован!» Я бросился вверх по ступеням, протолкнулся сквозь голосащие тени, черным ходом выбежал во двор, забитый мусорными баками, проходными дворами вырвался к Мойке и понесся к Дворцовой площади, где остановился как вкопанный. Вокруг Александрийского столпа кружили стайки ровесников-выпускников, бродили интуристы, кто-то фальшиво пел под гитару, и все здесь, под Архангелом Гавриилом с Крестом, было по-прежнему: и прозелень Дворца Растрелли в голубизне ночи, и купол Исаакия над дымом тополей, и шпиль Адмиралтейства. Горло мне как стиснуло, так и не разжимало. Я бросился дальше и только у Дворцового моста перевел дыхание. Под разведенными половинами моста, запрокинувшего свои фонари, в сторону Финского залива перетягивалась боль-

шая баржа, собравшая массу зевак. Я разжал кулак — на ладони золотился православный крестик, трепыхалась оборванная цепочка. Я прикусил зveno и надел на себя цепочку. Невесть откуда налетела фарца:

— Уступи крестик, парнишка! Позарез нужен!

Кто-то сплюнул в нашу сторону:

— Вот она, современная молодежь... За что боролись, а?

— Гля, хиппари питерские! — восхитился кто-то. — Где техасы достали, ребята?

Я рванулся:

— Прими руку!

— Как ленинградец ленинградца, а? Слово дал одному штатнику, пойми! Эй, я ж не рублями, *баками* плачу!..

Задыхаясь, я несся набережной мимо сырых от росы гранитных парапетов, безлюдных за ними прогулочных катеров...

Сенатская была пуста. Аллеями я дотащился до ограды вокруг скалистой глыбы с «Медным Всадником». Вздрыбленный Петром Великим зеленобрюхий битюг заносил надо мной копыта с такой яростью, будто служил в конюшне МВД. Я вытряхнул камешек из левой кеды, зашнуровался наново, поднял глаза на битюга — и вдруг меня прорвало. Рыдая, я опустился на гранит ограды и дал волю своему горю.

За перстни на разбухших пальцах бабушкиного тела патологоанатом предлагал мне три тысячи, потом пять, но я кремировал бабушку вместе с фамильными брильянтами и похоронил пепел на Охтенском кладбище среди других Спесивцевых.

В конце июня я получил аттестат зрелости с медалью — увы, только Серебряной. Из-за «четверки» по истории СССР. Следующие три недели я провел под Ижорой, где у дальнего родственника, проводника на пенсии, было полдома и лодка. Днем готовился к вступительным экзаменам в университет, а по ночам заплывал высоко против течения совсем дикой в этих местах Невы и складывал весла. В 20-х числах июля, с замечательным торсом и мозолями на руках, я вернулся в Питер, взял за неделю вперед билет на «Красную Стрелу» и поселился у Вольфа, который, еще год назад порвав с родителями, снимал комнату в самом конце Невского проспекта, рядом с Московским вокзалом.

Вольфу уже 18. Кончив в прошлом году с Золотой медалью на-

шу общеобразовалку имени Александра Сергеевича Пушкина (что на Мойке), мой друг решил отныне жить по правде. Для начала он провалился на вступительных экзаменах в ЛГУ имени Жданова. В сочинении на так называемую «вольную» тему он в полном соответствии с истиной назвал этого Жданова «дворовой шавкой, спущенной грузинским деспотом на русскую литературу». За эту «прокламацию» ему даже «неуд» не решились поставить, а взяли и переадресовали те три листочка в Большой дом на Литейном проспекте. С тех пор Вольф состоит на учете тамошнего Литературного особотдела. Его таскают туда на превентивные беседы, предлагая сложить перо пока еще не поздно, на что Вольф неизменно отвечает строфой Назыма Хикмета:

«Но если я гореть не буду,
и если ты гореть не будешь,
и если мы гореть не будем,
то кто ж тогда рассеет тьму?»

В армию ему не идти по причине легких, терять ему — грузчику в Елисейском магазине — нечего. И он упорно пишет, развивая на благодатной отечественной почве традиции Франца Кафки. Я завидую его писательскому фанатизму. Ничто его, кроме литературы, не волнует — ни папины осложнения по партийной линии (а папа у него как-никак контр-адмирал), ни сердце мамы-гинеколога, ни даже сексуальный вопрос.

К вопросу этому мой друг относится с высокомерным презрением. В отличие от меня он девственник принципиальный. — В этой стране половое сношение, — учит он, — есть сношение с Системой.

— Брось, — говорю. — На самом деле ты просто их панически боишься.

— Кого, женщин? Да! — с гордостью говорит Вольф. — Я их боюсь.

— КГБ не боишься, а женщин боишься. Не понимаю.

— Поживешь с мое, поймешь. Не потому что они женщины я их боюсь, а потому что они — *советские*.

— Советские — значит лучшие, — отвечаю я лозунгом. — Нам повезло родиться в стране с разнообразнейшим этносом. Но даже и у нас, в Питере, полным-полно таких красавиц, каких ты и в западном фильме не увидишь.

— Видишь ли, Алексис, — снисходит он, — по молодости лет ты, говоря о женщине, подразумеваешь, прости, одну только вульву. Я же имею в виду социально-культурное, а если хочешь, и политическое содержание.

— Во-первых, я вовсе не вульву подразумеваю.

— Уж не любовь ли?

— Ну а если?

— Блоковской «Незнакомки» все равно не встретишь, не говоря уже о Прекрасной Даме. Береги невинность. Мастурбируй. Пиши.

— Я не могу мастурбировать.

— Эт-то еще почему?

— Потому что каждый раз после, — говорю я, — у меня такое чувство, будто я собственноручно погубил возможность.

— Какую такую возможность?

— Ну... Шанс. И от этого у меня тоска смертная.

— Сильный же у тебя комплекс вины... Ну, тогда следуй моему примеру.

Дело в том, что Вольф «нарком». Не «народный комиссар», конечно, — наркоман. У нас в Питере масса народу бежит от реальности с помощью самых разных средств, среди которых мой друг в свои 18 перепробовал, кажется, все: гашиш, план, опиум, морфий, омнопон, циклодон, кодеин, кодтерпин, ноксирон, демедрол, аминазин, аспирин, чефир, этот концентрат чайной заварки, гулаговский наркотик, а кроме того — зубную пасту, эфирные пятновыводители и сапожную ваксу.

— Спасибо за совет, — говорю, — но небытие меня как-то не влечет. Я жить хочу, понимаешь?

— Что же, — сказал Вольф, — попробуй.

«Красная Стрела» уходила в Москву в пол-первого ночи, и я с трудом дождался, когда Вольф кончит работу. Он появился с перевязанной рукой, очень мрачный.

— Что это с тобой?

— Ящики вскрывал. Теперь одной рукой стучать придется. Что это ты так сияешь, москвич?

— Есть причина, — сказал я. — С какой целью Петр основал этот город? С целью сделать Россию Голландией. Так вот идем!

Я перетащил его через Невский и в сквере вокруг памятника Екатерине Великой подвел его, упирающегося, к скамейке, на

которой сидели две блондинки в джинсах.

— Мой друг Вольф, — сказал я по-английски, — самый гениальный представитель литературного подполья. — И по-русски: — Вот эта, потолще, будет Анс, а эта Тинеке. Прибыли из братского Амстердама. Знакомься и сделай выбор.

— Хай! — сказал непринужденно Вольф. — Где это ты их наколот?

— В Эрмитаже. Отбились от группы. Хотят окунуться в наше подполье, после чего, по-моему, не прочь и любовью подзаняться. Что ты морщишься, ведь не советские же?

— Друг мой, о какой любви речь? Ведь Амстердам — мировая столица «наркомов»! А мне их даже встретить нечем, ни крохи дома.

— Ты думаешь, они курят?

— Еще бы они не курили! Хитрожопый Китай их, западных, в первую очередь растлевают. Вот смотри... — И он перешел на английский: — Как насчет травки, Тинеке?

— О йес! Только у нас с собой нет.

— Сейчас сделаем! Заодно и Питер посмотрим.

Тинеке проворно схватила его за руку, а меня повела за собой толстозадая Анс, вслед которой оглядывался весь наш Брод, Невский то есть проспект.

За Казанским собором (он же Музей атеизма) мы взяли мотор и поехали на Петроградскую сторону, в «Рим» (официально кафе-мороженое без названия). Вольф вернулся с пустыми руками, и мы переехали на Васильевский остров, в «Гадюшник» (официально «Сфинкс» на углу Большого проспекта и Второй линии). Пока мы с голландками тянули через соломинку знаменитый на весь Питер коктейль под шикарным названием «Мост через реку Квай», Вольфу предложили ампулы. Он отклонил и правильно сделал. На такси мы вернулись на Невский. Потолкались в «Сайгоне» (бар ресторана «Москва») — зеро. Но в «Ольстере» Вольфу повезло: знакомый «нарком», работавший под князя Мышкина из пырьевской киноверсии «Идиота», заперся с нами в кабинке сортира и отсыпал на червонец анаши. Залетные нацмены из Средней Азии и Закавказья сбывают на Кузнечном рынке не только грецкие орехи и мимозу.

— Девки ваши? — спросил «нарком».

— Наши.

— Уступи их мне.

Вольф удивился:

— Ты же третьего дня хвалился полной импотенцией?

— Да я не себе, я их «чуркам» перепродам. Гонорар пополам, идет? Они у вас крашенные?

Вольф ответил не без гордости:

— Натуральные.

— Эй, подожди, — толкался за нами юнец, — да подожди ты!

— А потом, выскочив из «Ольстера», презрительно крикнул нам вслед: — Тоже мне «наркомы»! Настоящие «наркомы» не с е к с у ю т !!!

Кривая комнатенка с видом на глухие стены типично питерского каменного мешка была меблирована матрасом и удобным подоконником, на котором я спал. Сейчас на подоконнике стоял огромный «Ундервуд» конца прошлого века.

— Писал? — цепко спросил Вольф.

— Да так, — смутился я. Выдернул из-за валика лист и изорвал в клочки.

— Закомплексованный же ты юноша, — засмеялся Вольф и, переговариваясь по-английски с Тинеке и Анс, принялся набивать анашой папиросу «Северная Пальмира».

Девушки лежали на матрасе, нога на ногу. Я сунул руки в карманы и стал ходить между тесных, но высоких стен — от двери к подоконнику и обратно. Посмотрел украдкой на часы, что не укрылось от Вольфа, который немедленно перешел на русский:

— Из-под опущенных ресниц, — продекламировал он из Тютчева, — угрюмый, тусклый огонь желанья...

На, и он потухнет.

Я посмотрел на папиросу.

— У меня поезд через два часа. — И взял ее.

— Без тебя не уйдет. — И он поднес мне пламя спички. — Вдыхай как можно глубже, но сразу не выдыхай. Подержи в легких. Ву-а-ля... Теперь ей отдай, этой... С а с к и и .

— Анс, — напомнил я ему.

Он расхохотался мне в глаза, и я решил: «Накурюсь!..»

После третьей затяжки Саския, то есть Анс поймала меня за запястье, чтобы вынуть из моего рта папиросу, и я — уж не знаю, как — оказался у нее на коленях, что вызвало очередной приступ хохота у Вольфа.

— Не сердись, — сказал он, — это просто эффект анаши.

— Мне почему-то вовсе не смешно, — ответил я. Анс положила мне левую руку на плечо, ткнув указательным пальцем правой в прищипленный к обоям снимок: Томас Манн с «гаваной» в пальцах. Мюнхенский период, еще до эмиграции в Штаты.

— Это кто, Сартр? — спросила Анс. Я сделал попытку вырваться с ее колен, но она держала крепко. На этот раз Вольф смеялся взахлеб, подвизгивая, и Тинеке тоже, и моя бедная Анс кротко оправдалась: «Ай хэв ноу, дескать, риэл мемори фор фэйсиз...» «Это, — сказал Вольф, — Фидель Кастро». «Релли? О ноу, ю лаф эт ми!» «Он, он», — настаивал Вольф. Анаша обнаружила не лучшие черты его природы. «Бат... Энд вериз хиз бэрд?» — настаивала Анс... «А Брежнев велел ему побриться!» И тут они захохотали так, что Тинеке громко пукнула, и я испытал мстительную радость. Но от стыда Тинеке при этом не умерла, а заржала еще громче, и в потолок нам постучали стулом.

Во время второй папиросы я заметил, что Скандинавия, она вообще-то без комплексов. Поэтому у них и нет литературы, ответил Вольф. А с чего ты взял, что Голландия это Скандинавия. Голландия это Нидерланды. Инджой ит, сказал он не мне. Почему же «нет». Есть, возразил я. Например, «Дневник Анны Франк». Где, кстати, тоже бздит и не краснеет один второстепенный персонаж. Дамбы есть, а литературы нет, сказал Вольф. А у нас есть. Например? Например:

«В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем...»

Мандельштам. Анна Франк — не спорю, сказал мэтр, но это от безысходности. Если хочешь, вся наша литература — Анна Франк. А у них только дамбы да еще один мальчик, потерявший в дамбе пальчик. Национальный герой. Вот возьми, сказал я, и повтори его подвиг. Разве что пальцем, сказал Вольф, потому что у меня уже отнялся. А у тебя? А у меня, сказал я, «Красная Стрела». И заплакал. И Анс заревела. Тогда как те, наоборот, стали хохотать, глядя на нас. Писать к тому же хочу, сказала Анс. Пойдем, поднялся я и шарахнулся об стену.

Коммунальный сортир в этой квартире на десять семейств, не считая Вольфа, представлял такое зрелище, что Анс попятилась:

— Айм эфрейд, не смогу здесь...

Это надо было пережить — плач рядовой голландской девушки на пороге типичного ленинградского сортира. Позор прожог меня насквозь, и мне открылась бездна нашего падения. Ну, как, как мы позволили, чтобы нас довели до такого сортира?

— Описаюсь сейчас, — сказала Анс.

— Потерпи, родная, — попросил я, и, обнявшись и плача от унижения, мы побрели во тьму, у нас был Эрмитаж, и Рембрандт в нем, но это не могло утешить интуристку.

Я привел ее на кухню, заложил дверь изнутри железной ножкой табурета, расстегнул на ней джинсы, стащил их вместе с трусиками и пригласил взобраться Анс попой на край раковины. Держалась раковина очень непрочно, и я из последних сил подпирал и девушку, и раковину. Она уже пописала, но почему-то не слезала, а потом спросила:

— А почему тут целых пять газовых плит?

Под ее тяжестью я испытал смертную истому. Не вдаваясь в объяснения того, что нормальному человеку объяснить нельзя, я сунул поскорей свою голову под ледяную невискую воду. Я приходил в себя долго, даже часы пытался рассмотреть сквозь воду: не опаздываю ли? Потом испугался, что схвачу менингит, и закрыл кран.

— Такой мокрый, — всхлипывала Анс, вытирая меня. — Такой юный, такой красивый и такой несчастный!

— Это потому что у меня бабушка умерла, — вспомнил я, давась слезами от жалости к себе.

— Папа-мама хоть есть?

— Никого, только бабушка была. Она была больше, чем бабушка, андерстэнд ми?

— Я на тебе женюсь и увезу тебя отсюда, хочешь? Бедный русский мальчик! Бедная Россия! О, как мне плохо, Боже мой, и зачем я сюда приехала? Но мы уедем вместе, да? Как тебя зовут?

— Ничего ты не понимаешь, я в Москву уезжаю.

— Амстердам лучше. Как тебя зовут? А хочешь, в Калифорнию? Вся жизнь у тебя впереди.

— Жизнь впереди, только смысл позади... И пепел.

— Какой пепел?

— Пепел, — бормотал я, — в сердце стучит. Люблю его. Ничего, кроме пепла... Вольф, где же мой саквояж?

Вольф, запрокинув голову, смотрел на меня перевернутыми стеклянными глазами.

— Умираю, — простонал он. — Уотс ронг уиз ми?

— Это анаша. Не кури больше.

— Буду курить. Это — Совдепия... Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй. Но надо бороться. Тинеке права: «Винтовка рождает власть». Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, седлайте коня... Трехлинейку мне, друг Алексис! Тульчаночку мне нашу, образца 1891 года! Я в одиночку Зимний отстою, большевикам не сдам я остров Крым!.. Куда ты?

— Я в Москву.

— А эти... Нидерланды?

— Им в гостиницу.

— Прощайте, Нидерланды! Надеюсь, вам понравился Ленинград. А что от нас останется, когда на нас сбросят ядерную бомбу, знаете, нет? Такой наш местный анекдот... — И Вольф ответил:

— Петербург.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: ВСЕ, ЧТО СТРЕМИТСЯ ВВЫСЬ, ДОЛЖНО СОЙТИСЬ»

Утром я соскочил на перрон Ленинградского вокзала Москвы. Спустился в метро, еще более помпезное, чем ленинградское, и потерялся. Битый час я добирался до станции «Проспект Маркса», а там еще столько же блуждал подземными переходами, выходя каждый раз на поверхность не в том месте: то у Исторического музея возникал, то у гостиницы «Москва», то на улице Горького — но не на том углу, где «Националь», а на противоположном. Жара, бензиново-выхлопной угар, и такая прорва народу, будто все эти восемь миллионов москвичей нарочно вышли из дому, чтобы сбить меня с толку. По сравнению с ленинградской — напористая до свирепости масса, состоящая из громоздких фигур с болезнетворными локтями. Масса перла целеустремленно и молча, а когда говорила, то ухо мое так и резал словно бы нарочитый, акающий московский говорок. Когда я выбрался на поверхность у «Националя», солнцепек был уже такой, что под ногами пружинило. Асфальтовым берегом огромной Манежной площади, по ту сторону которой зеленел сад у стен Кремля, я спустился к старому зданию Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

По-московски приземистое и тяжеловесное трехэтажное это здание с портиком, как о том извещала мемориальная доска, было построено еще Казаковым в конце восемнадцатого века, сгорело во время пожара 1812 года и было восстановлено архитектором Жилярди. Согласно традициям архитектурного классицизма, было оно в виде буквы «П». За решеткой, в университетском дворе, щебетали абитуриенты, которых было полным-полно — девочек, в основном.

Филологический факультет помещался в левом крыле. На втором этаже, в Круглом зале, где принимали документы и где от девочек волнующе-остро пахло свежим потом страха, я прошел собеседование. У меня спросили, знаю ли я эпиграф к «Анне Карениной». Естественно, я знал. «Мне отмщение, и аз воздам», — ответил я, и тут же мне выдали бланк анкеты. Слишком много было народу, чтобы выяснять, а чего, собственно, ищет в Московском университете ленинградец, имеющий свой собственный

по месту жительства — имени Жданова? (Не знаю, что бы я ответил. Вольф бы ответил: «Считаю невозможным изучать русскую литературу в университете имени ее душителя»). Поэтому Вольф и таскает ящики в подвалах Елисейского. Не способен к компромиссу).

Анкета — в восемь больших страниц — предлагала стандартный набор вопросов, вплоть до *Имеете ли родственников за границей?* Даже внутри границ я не имел никого. Никого и ничего: ни наград, ни трудового стажа, ни судимостей. Лучшая из биографий: *tabula rasa*. Гражданин пока еще никто. Чистая потенция.

Я поставил дату и расписался. Подколол к анкете ряд заранее запасенных документов: 1) Аттестат зрелости, 2) характеристику из школы, 3) автобиографию, 4) медицинскую справку по форме 287 и 5) четыре фотокарточки 3х4. Все это вместе с анкетой легло в основу тут же заведенного на меня «Личного дела», а взамен я получил направление в общежитие «с правом занятия 1 (одного) койко-места».

Прежде чем отправиться в Общежитие, я ознакомился с Факультетом. Коридор второго этажа, где размещался филологический факультет (ниже, на первом, был факультет журналистики), был высок и тесен. Рассохшийся паркет скрипел подо мной. Было много уютных углов, где сгущались потемки и пахло пылью. Черная лестница, железная, как и парадная, связывала второй этаж факультета с его же третьим. Оконная ниша на площадке была уютно глубокой. Я посидел в нише, обхватив колено. Поднялся на третий этаж.

Перед дверью Приемной Комиссии стояли в очереди отцы абитуриентов. Штатские отцы — в черных официальных костюмах, и военные — в парадной форме, при пестрых орденских планках, с разноцветными генеральскими лампасами на брюках — малиновыми, голубыми. Ниже генералов военных отцов не было, но, по неуверенности, с которой они держались, похоже было, что штатские отцы по званию еще выше. За дверью Приемной Комиссии беспрерывно звонили телефоны; еще более высокие отцы решали вопрос с дистанции, не опускаясь до обивания этого порога. Какой вопрос, это было очевидно, и в этой нервной, плотной, апоплексической атмосфере меня охватила паника: а конкурентно ли способен я, одиночка, без таких вот могущественных лобби? Эти столичные отцы олицетворяли всю

мощь государства. Разве им, правящим, откажут, разве их детей провалят на экзаменах? Не говоря уже о том, что детей, конечно, заранее готовили, отдавая в спецшколы, нанимая репетиторов на уровне кандидатов наук?.. Нет, провалят — меня. Сделают все, чтобы провалить. Несмотря на Серебряную медаль.

С бессильным презрением я смотрел на отцов; но остекленевшие их глаза, мутные от духоты, смотрели сквозь меня, как будто меня и не было. Я повернулся и пошел прочь, вглубь коридора. Черной лестницей спустился на второй этаж. Открыл дверь уборной с буквой «М». В уборной было светло, пусто, сухо. Я заперся в дальней кабинке, влез на толчок, обнажился, сел — в соответствии с устройством сортира — на корточки и с тоской обнаружил, что меня безудержно слабит. Несет, как загнанного охотниками медведя. Неужели территория Факультета станет местом моего поражения? И что тогда? Возвращение в Ленинград. Призывной участок военного комиссариата. Парикмахерская, где я склоню голову, которую обреют наголо... Армия. Два года в сухопутных войсках, три, если попадусь на флот. Вместо университета — казарма, плац, побудки, ночные тревоги, учения... не дай Бог! Чтобы не думать об этой бездне, над которой повисла моя юная жизнь, я стал рассматривать стены кабинки. В отличие от примитивных общественных сортиров моего прошлого, школьных, бассейно-стадионных, просто уличных, этот — оно и понятно — был разрисован и расписан на высоком интеллектуальном уровне. Самодеятельная порнография студентов филологического факультета главного университета страны отражала помыслы куда более изощренные: оральные, анальные, гомосексуальные. Дырка, просверленная в соседнюю кабинку, была изобретательно обведена контуром угодливо подставленной толстой жопы, обладатель которой, оглядываясь назад, извещал изо рта, что *абитура — мудаки, а студенты — бляди, ибо власти нас ебут спереди и сзади.*

Это мы еще посмотрим. И уж во всяком случае, пусть на меня с моей невинностью, как спереди, так и сзади, посягает преподавательско-профессорский состав, а не старшина на плацу. Я раскрыл стоящий у ног баул, вынул школьный учебник обществоведения, выдрал пару страниц, размял их и тщательно подтерся. После чего поднялся, застегнулся, дернул за цепку бачка, подхватил свой баул и отправился в Общежитие.

Оно находилось в новом здании МГУ на Ленинских горах.

В высотном. Сталинском. Силуэт знаменитого небоскреба с башнями а ля рюс и вдобавок увенчанного шпилем со звездой в лавровом венке мне был с детства знаком по картинкам, но когда через час путешествия в юго-западном направлении, на метро от «Библиотеки имени Ленина» до станции «Университет», а потом на автобусе, я соскочил у подножия «высотки» и задрал голову, у меня просто поплыло в глазах. Вавилонская башня! Чистое безумие, воплощенное в камне. Мания величия — да еще со шпилем! Миллион окон, кошмар!..

Где-то там и мне было уготовано 1 (одно) койко-место. Если повезет — на целых пять студенческих лет. Я тряхнул головой, усилием воли преодолевая головокружение, покрепче сжал ручку своего потрепанного баула из свиной кожи и побежал вверх, упруго отталкивая подошвами кедров гранитные ступени этого храма науки, смахивающего больше на кафкианский замок.

*

«Москва
МГУ
В-1861-Левая

Мой милый Вольф,

сегодня объявили результаты первого экзамена — сочинения.

Вернувшись с Фака, обнаруживаю во внутреннем дворе своей «Зоны» толпу. Протискиваюсь: в эпицентре нечто, заботливо накрытое промокнутой от крови простыней. Девочка, оказывается. Абитуриентка. Схватила пару и — в окно. Удар был такой, что зубы разлетелись по всему двору. Самый распространенный у нас способ самоубийства.

Попытаюсь описать неопишуемое — Наш Дом. Начали его строить в марте 1949 года, по случаю 70-летия Сталина, а закончили в 1953, в год кончины Самого Великого Зодчего Всех Времен и Народов. Мощный абсурд. Символ империи: снаружи устрашающе, до необозримости огромен, но стоит оказаться внутри, как немедленно задыхаешься от клаустрофобии. Мне пока везет, я один на жизненном пространстве в 7 с половиной кв. м., соседи же по блоку — втроем. Тебя задело это концлагерное словцо, «блок»? Не удивляйся, Наш Дом строили зэки. «Блок» — это стандартная ячейка (комната слева, комната справа, душевая, сортир и прихожая). Корпуса, начиненные этими «блоками», а еще коридорами, лестницами, лифтами, — зовутся «зонами». Тут их с добрый десяток, и все это, увенчанное

шпилем, — Наш Дом. Я проживаю в гуманитарной зоне В, на 18-м этаже. Окно выходит в сторону Москвы. Пока я писал, закат догорел, и столица зажгла свои огни на горизонте. Красиво.

В данный момент Наш Дом гудит, как взбесившийся улей. Наплыв абитуриентов в этом году чудовищный. После первого экзамена провалилась треть, и сейчас эта треть впала в такой разгул, что за это время, пока я пишу, я насчитал семь взрывов. Пьют и швыряют из окон бутылки. За это выгоняют, но им уже нечего терять, а потом попробуй засеки преступное окно среди тысяч ему подобных. В первый же мой вечер здесь, когда я намерился обойти Наш Дом по периметру, такая вот бутылка едва не оборвала мою юную жизнь. Рванула передо мной и осыпала осколками. Как видишь, познание Нашего Дома сопряжено с известным риском. Тем не менее сегодня я его продолжу, на сей раз — по вертикали. Займусь с тоски альпинизмом. На этом, милый Вольф, пожалуй, и закончу. Почему-то — это знак Абсурда — тут, в этом Доме, полным-полно детей. Черные, смуглые, белые, и все орут по-русски. Разъезжают по коридорам на велосипедах, лавируя между абитуриентами, собирают презервативы вокруг Дома, рискуя быть сраженными случайной бутылкой... Вот уже 9-я взорвалась, перекрывая запущенные на полную громкость магнитофоны. Хорошо, что время уже недетское. Уж полночь близится. Обнимаю тебя, мой Нарком. Привет «Сайгону», «Ольстеру» и «Риму». Твой *Алексис*, бывший питерец, а отныне москвич.

P.S. Как ты, наверное, уже догадался, я поступил. Как медалиста, меня освободили от последующих экзаменов, потому что за сочинение, по Пушкину, кстати, я снял пять баллов. «...Что ж непонятная грусть тайно терзает меня?» Милый мой Нарком, зарезервированное тобой для меня место грузчика в винном отделе Елисеевского плача и рыдая уступаю более достойному интеллектуалу. Как вы там все, на Невском? Уровень разложения, надеюсь, не снижаете? Отпиши, согрей душу ренегату. А.»

Закончив письмо, я вставляю ноги в полукеды, натягиваю черную маечку, гашу лампу и выхожу.

В тупиковом отсеке, куда выходит дверь блока, темно, но за углом уходящая вдаль перспектива коридора освещена. Никто не спит. Хлопают двери, абитуриенты бродят из блока в блок. На кухне, обняв друг дружку, рыдают две пьяные девочки. Из

холла, где телефонный пульт и кресла, доносится хоровое пение по-английски: «We shall overcome one day!..» Не доходя до холла, я сворачиваю к отсеку лифтов. Здесь кто-то наблевал, и, нажав кнопку вызова, я стою над блевотиной не дыша.

Спустившись на 2-ой цокольный этаж, я выхожу из своей гуманитарной Зоны В. Охрана на выходе — старик с седым ежиком и гнилой клубничной носы — спит за столом, перенеся геморройную «думочку» из-под жопы под щеку: какой-нибудь бывший концлагерный надзиратель на пенсии, прирабатывающий надзором над студентами...

Обнесенная гранитной балюстрадой галерея (нависшая над лестницей, спускающейся вниз, в фойе Зоны и в столовую) по прямой выходит в главный пассаж Нашего Дома. Днем здесь всегдалюдно, сейчас — ни души. Глухая стена лифтовой шахты Зоны А, центральной, раздвигает пассаж. Я сворачиваю налево. Свет дальних гардеробных Главного входа сияет на гранитных стволах колонн. Колоннада вокруг толщи лифтового ствола подпирает основную тяжесть МГУ, уходящего здесь в высоту, если со шпилем, почти на четверть километра. Туда мне и надо — под шпиль. Зачем?.. Так. Некая сила. Взрывающаяся. Дежурным лифтом я доезжаю до 24-го этажа, а оттуда пешком по лестницам. Темно. Пыльно. Тесно. Кровь в ушах бухает все громче, а я все лезу круто вверх, марш за маршем, пока вдруг, вконец оглохши, не врезаюсь во что-то живое.

Дальше — заперто, и это живое, по-девичьи мягкое, скорбно всхлипывает на порожке.

— Пардон, — выдыхаю я... — Я вас не слишком?

Девушка подвигается в темноте.

— Со мной теперь, — говорит она, — что хочешь делай — без разницы. Хоть ногами бей.

— Прости, я нечаянно, я не предполагал... — Я сажусь с ней рядом, упираюсь спиной в дверь. — Заперто?

— Увы. Билась-билась... Глухо.

— Зачем?

— В смысле?..

— Билась зачем?

— «Зачем»... Ты сколько за сочинение получил?

— Пять.

— А я пару... Ясно теперь? — Она всхлипывает, утыкается лицом в свои голые колени. Помедлив, я обнимаю ее за плечи, и

она порывисто прижимается ко мне, мокрым лицом к горлу. Плечи у нее ходуном ходят. Я обхватываю ее крепко-накрепко. И принимаюсь укачивать, а в голове у меня снова возникает вбитое в асфальт тело под простыней, мокнувшей в крови. Черепная коробка разошлась от удара, открыв мозг между двумя туго заплетенными косичками. «Не плачь! — говорю я, как старший брат. — Тебе сколько?» «Семнадцать... будет. В ноябре. А тебе?» «Было уже, в мае. Успокойся, — говорю, — на следующий год поступишь. Тебе ведь в армию не идти, а?» «Армия у меня на дому, — всхлипывает она. — Предок мой погранвойск генерал. С таким жить, как под надзором. Единственный был шанс сбежать, понимаешь? В Москву, в МГУ, и вот... Я там все ненавижу, все! Как я теперь вернусь?» «Там, это где?» «Там, это в *Подпольске*. Такая дыра, что — » «Ничего себе дыра! Миллионный город» «А ты в нем был?» «Нет» «А говоришь... Откуда ты?» «Из Питера» «Ленинград?» «Угу» «Повезло тебе. А мне... Мне, если хочешь, весь Союз вообще дырой показался, когда предка отозвали. Я ведь за границей росла. До тринадцати лет, представляешь? И вообще я в Австрии родилась, в Вене» «То есть?» «Ну, в секторе оккупации. Там же наши войска до самого 54-го года были. А потом Будапешт, Прага, Варшава... И вдруг: на тебе! Даже не в Ленинград, в самое болото! Скажи, а?» «Ничего, еще вырвешься» «А если нет? Коготок, знаешь ли, увяз — всей птичке пропасть...»

Она спрашивает закурить, у меня нет. Она нашаривает на полу впотьмах один из своих же окурков, и пламя на мгновение показывает мне бледнолицую шатенку, прикуривающую с прикрытыми глазами. Ресничная тушь смыта слезами, и впалая щека в подтеках серых. «Не смотри на меня!» Она задувает спичку. Затяжка. Огонек сигареты подрагивает в тонких пальцах.

— Соседки мои тоже провалились. Сейчас гуляют с горя. Водки купили, пригласили парней и... Куча мала, знаешь? А я сбежала. Бросила вызов коллективу. Стакан водки выпила, и все равно. Индивидуалистка я, наверное. Кстати, меня Диной зовут; а тебя?

— Алексей.

Затянувшись напоследок, Дина стреляет окурком во тьму; искры озаряют завиток лестницы у толсто-выпученной стены. —

Мужчина, — говорит она со вздохом, — всегда хочет, но не всегда может, тогда как женщина всегда может, но не всегда хочет. Особенно когда вот так, вповалку, с первым встречным-попечным. Тем более, когда она еще и не женщина даже, а так сказать, *девушка*. Если ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду.

Я, конечно, понимаю и, будучи в том же смысле *юношей*, омертвевая по всей линии нашего с ней тесного соприкосновения в нише запертой двери, на пороге. Помнится, сексуальный ментор нашего отряда в пионер-лагере под Ленинградом, в Ораниенбауме, красавец-гимнаст из Института физической культуры имени Лесгафта, подрабатывавший как массовик-затейник летом, читал нам Андрея Вознесенского: «Стареющие женщины учили нас любви. Отсюда — холод, желчность и пустота в крови... — И наставлял:— Не пускайте слюни на директрису, мальчики. Исключительно по долгу службы я пользую эту сияющую тетку. Теряйте невинность с ровесницами-целочками. Лучше целочек, особенно интеллигентных, никого нет. Трепетные, оторванные от всего низменного, фантастические они существа! Мне-то за целочку срок грозит, как за растление малолетней, будто их-то, с бесстыдством их воображения можно чем-то растлить! ну а вы, парни, не теряйтесь, пользуйтесь возрастом: «Блажен кто смолоду был молод», как Пушкин сказал...» Мне уже не 14, мне семнадцать с половиной лет, но и сейчас моя рука, обнимающая ровесницу, рука изысканного автоэротизма, — полностью мертвеет. Неужели она имеет в виду, что?.. Здесь, сейчас?!

— Смешное слово дефлорировать, — говорит Дина. — Ты, Алеша, не находишь? *Обесцветить*, если дословно, да?

— Вроде бы. Поскольку Флора еще и богиня цветов.

— А кроме этого?

— Юности, — говорю. — Весны...

— Это — в античной мифологии?

— Да. В римской.

Пауза.

— Технически, — говорит она, — это ведь не проблема? Дефлорация.

— Понятия не имею.

— Разве ты никогда не был с девушкой?

— Нет. Как-то не доводилось.

— А вообще... доводилось?

- Вообще? Естественно.
- И у тебя их было много, женщин?
- Было. Несколько...
- Сколько?
- Господи, Дина! Разве я считал?
- Не считал?
- Нет, конечно.

Она говорит:

- Поцелуй меня, Алеша.

Озноб пробирает меня, потому что, говоря откровенно, как-то не доводилось мне еще доходить до такого интима — вводить свой язык в полость чужого рта. И вообще совсем в иной плоскости я нахожусь по отношению к этой бедняге. В плоскости сострадания. Которую как-то не могу превратить в плоскость вожеления. Поэтому, когда Дина резко поворачивается на чьи-то шаги, я испытываю облегчение.

- Еще один альпинист, — говорю я.
- Крикни ему, что пик уже покорен.
- Зачем? Места хватит. Все, что стремится к вершине, знаешь ли, — говорю я, — должно сойтись...

Когда звук шагов, ладони на перилах и частого дыхания поворачивает на наш с ней, последний марш, Дина говорит во тьму:

- Если вы самоубийством кончат, молодой человек, то у вас ничего не выйдет: заперто!

От неожиданности человек обеззвучивается.

Потом он закуривает, являя свое скуластое лицо. Щеки у него испорчены следами фурункулеза. Он не старше нас с Диной, но выглядит взрослее.

- Кончат с собой мне вроде бы не с чего, — отвечает он, — а вот на Москву с высоты взглянуть охота. Где тут у них заперто?

Он отдает Дине свою сигарету, вынимает из кармана перочинный нож, прикасается к замку, и через минуту открывается вид на звезды:

- Прошу.

— Гениально! — Дина в восторге. — Вы что, профессиональный взломщик?

Зачем? Он Золотой медалист, сдавший, как и я, свой первый экзамен на отлично, так что — уже студент. Тоже филфак, но не

мое, русское, а романо-германское отделение, более престижное. Зовут — Ярослав.

— А можно Ярик? — кокетливо спрашивает Дина, переступая порог.

Чего ж нельзя? Можно...

Втроем мы выходим на смотровую площадку. Балюстрада вокруг башни в виде прямоугольных зубцов, как у шахматной фигуры ладьи. Над нами, в свете прожекторов, высится, сияет огромный шпиль со звездой в лавровом венке, под нами — рубиново горят сигнальные огни, предостерегая самолеты, а еще ниже, уступами, чернеют крыши университетского здания: гигантский крест, и мы — в самом его центре.

— Невероятно! — говорю я. — Египетская ведь пирамида. А построено всего за четыре года.

— Рабы ведь строили, — говорит Ярик. — Ээки.

— Ээки не ээки, — восторженно говорит Дина, — но это, мальчишки, нечто! Слов нет. Действительно — Храм Науки... Как я вам завидую! Вам здесь целых пять лет жить, а мне... Вы, Ярик, откуда сами?

— Из Сибири.

— Из Сибири? Вот возьму да и завербуюсь туда. На ударную комсомольскую стройку. Все лучше, чем с позором в Подпольск. Ты как считаешь, Алеша?

— У человека спроси. Человек знает.

— Не советую, — говорит Ярик.

— Почему? Ведь романтика, говорят.

— Говорят. По радио. По радиостанции «Юность». Никакой там романтики — вечная мерзлота. Сказал же Достоевский: мертвый дом.

— Будто мой живой... Вот возьму сейчас да брошусь вниз!

Сменяя меня в роли утешителя, Ярик говорит:

— Ничего. На следующий год поступите.

— За год знаешь как можно увязнуть? По уши, — говорит Дина. — Так, что и не взлетишь.

— Вы, Дина, взлетите.

— Ты так думаешь?

— Интуиция подсказывает.

— Что подсказывает?

— Что вы, Дина, обладаете большой аэродинамической силой.

Комплимент изыскан по-сибирски, тем не менее — действует.

— Думаешь, обладаю?

— Уверен.

— Так и быть, на этот раз останусь жить, — говорит девушка.
— Пойдемте, мальчики, а? Голова кругом.

Она пригибает голову, одновременно поднимая высокую свою ногу, чтобы не задеть порог. Ноги у нее!.. Самостоятельные, сильные. И такая славная попка — круглая, упитанно-тугая. Прямые плечи, гордая осанка. Грудь, правда, несколько инфантильна, а так — просто замечательную девушку проявил из темноты свет звезд. Сибирский кавалер корректно поддерживает ее за локоток, и, скрываясь во мраке, девушка оглядывается — с тем, быть может, чтобы запечатлеть меня, покорителя звезд московских, который, будучи питерским джентльменом, не воспользовался, — а мог бы вполне... — моментом отчаяния.

К себе она не могла, у нее был бордель, поэтому в ту ночь мы заночевали все вместе у меня. Вполне целомудренно переспали, стащив на пол диванные подушки и матрас. На рассвете, правда, был конфуз. Дина спала под отдельным одеялом, а мы с Яриком — под общим. Справа, так сказать, сестра, слева — брат, а в центре я, которому приснился кровосмесительный сон. Элементарный такой. Уверенно идя к поллюции, я ласкал в этом сне Дину, слегка удивляясь при этом прямо-таки мальчишеской недоразвитости ее груди, такие они были плоские, потом моя ласкающая ладонь кругами сползла ей на живот, потом и ниже... и вдруг я с ужасом проснулся, осознав, что сжимаю отнюдь не вожденный холм Венеры, а вполне прозаичный мужской член. Но — не свой... Я отдернул руку и открыл глаза. Приподнявшись на локте, сибиряк с недоверием смотрел на меня.

— Ты чего, друг?

— Прости, друг, — сказал я, — обознался.

Я повернулся к нему задом, к Дине передом, натаскивая на себя наше братское байковое одеяло. Во избежание ошибок я обнял девушку — поверх одеяла.

— Что ж, — рассудил сибиряк, — бывает...

И потянул одеяло на себя.

ГЛАВА ВТОРАЯ: ОПЕРАЦИЯ «СОРБОННА»

На следующий день мы поехали на Белорусский вокзал — прожать Дину. На прощанье она пожала Ярику руку, а меня расцеловала.

— Постараюсь хоть в Подпольске куда-нибудь поступить, — сказала она. — Поступлю, и прилечу к тебе в Москву. На Ноябрьские праздники, ладно? Жаль, что так получилось вчера.

— О чем ты? — смутился я.

— О том, что не получилось, — засмеялась она и поднялась в вагон. Поезд тронулся, она высунулась из окна:

— До свидания, мальчики!..

Мы махали ей вслед. Поезд ушел.

— Не люблю я прожать, — сказал Ярик. — Ты как насчет бутылку разломать?

— Бутылку? — Я обдумал. — Ну, давай.

Мы пошли в вокзальный ресторан и сели за столик. Он предложил взять водки — грамм 700. Я предпочитал шампанское. Тут я в бабушку: великая трезвенница, она за всю свою жизнь, то есть до октября Семнадцатого, выпила один-единственный бокал шампанского, и то не залпом, а в сумме пригубленных глотков. (Существование после Семнадцатого она за жизнь не считала, и даже глотков не пригубляла, ибо «не с чего праздновать»).

Сошлись на компромиссе — бутылку армянского.

За столом он приоткрыл мне душу.

Его отец был директором подземного завода по обогащению урановой руды. Там заживо гниют смертники — приговоренные к расстрелу. Таких, оказывается, довольно много: каждый день у нас, сказал мне Ярик, вышку дают двум-трем. На четверть миллиарда населения это, может, и немного, и уж никакого сравнения с Большим террором. Но все же... а? Я был скандализован. Я не знал...

Вроде и не по чину директору-отцу, но и он, продолжил Ярик, схватил лучевку. Отмучился. Мамаша-рентгенолог, имея доступ к медицинскому спирту, медленно, но верно спивается, сменив после отца уже седьмого — то ли сожителя, то ли собутыльника. Так что всем достигнутым он, Ярик, обязан самому себе. Да

еще — знакомым зэкам. Среди них ему встретилось немало интеллигентов, был и один из МГУ. А за что он отбывал? За попытку к бегству. Куда? Естественно, на Запад. В Черном море, под Батуми, путь к голландскому сухогрузу ему пересек пограничный катерок. Диагноз: измена Родине. Десять лет.

— Он давал мне уроки, — сказал Ярик.

— Уроки чего?

— Романо-германской филологии. В том числе...

После ресторана он предложил мне прогуляться по Белорусскому вокзалу. С перрона номер 1 в этот вечерний час как раз убывал знаменитый экспресс «Ост-Вест». В отличие от прочих поездов этот толпы не осаждали, и перрон номер 1 был пустынен вдаль. Проводники, по двое у входа в каждый вагон, цепко держали нас, фланирующих в поле зрения. Их было больше, чем пассажиров.

— Полным-полно вакантных мест, — заметил Ярик.

Я промолчал.

— Кому-то можно... И в Западный Берлин, и в Кельн, и в Париж, и даже — смотри — в Остенде. Через полчаса отправится. Еще не поздно, можно сбегать за билетом. До этого Остенде. Не хочешь прокатиться? Месяц у нас свободный. Погуляем на воле, а к началу занятий вернемся.

— Будет, — сказал я, невольно понижая голос. — Не мазохируй.

— А я не мазохирую. Я просто не понимаю, почему вот тому красномордому можно, а нам с тобой — нельзя. Отказываюсь понимать. Или мы не свободные люди?

— Это красномордый несвободен, мы — свободны.

— Вот я и хочу прогулкой до Остенде этот факт подтвердить.

— Внутренней свободы тебе мало?

— Мне? Мне — мало. Внутренняя, она для рабов.

Мы дошли до конца перрона и повернули обратно. Один из проводников, снова увидев нас, не выдержал и заступил дорогу. Кабан такой под метр девяносто. Свинец в глазах хоть пули отливай.

— Что, хлопцы, провожаете кого или так?

— Фак оф, — сказал Ярик, не сбавляя шагу.

Проводник перевел свинец своих кабаньих глазок на меня и отступил. Полной уверенности, что мы свои, советские, у него, видимо, не было.

— Было б чем, — сквозь стиснутые зубы процедил Ярик, — на месте положил бы гада!.. — От подавленной ярости вокруг него возник пульсирующий ореол. — Это к вопросу о мазохизме, — добавил он.

Мы прошли мимо вагона «Москва—Париж», из окна которого так и прикипел ко мне заискивающими глазами самый известный в этом мире советский поэт. На свой манер я тоже проявил садизм: не узнал поэта, который деланно зевнул и отвернулся.

— Марину Влади видел? — спросил Ярик.

— Где?

— Уже прошли. — Он вынул из кармана рублевую монету, подшелкнул ее по самую крышу перрона... поймал и, глядя вдаль, раскрыл ладонь. — Что вышло мне?

Я заглянул. — Орел.

Он проверил, после чего повеселел. — Так что, — известил, — несудьба мне в МГУ учиться. В Сорбонну записываюсь.

— А, может, в Беркли?

— В Сорбонну, — повторил он. — Хочешь со мной?

В знак того, что принимаю, так и быть, тяжеловесную шутку провинциала, я хлопнул его по плечу:

— Давай, раз так.

Получив признание, Ярик и вовсе впал в сюрреализм:

— В таком случае придется разориться на пару грелок.

— Не знал, — сказал я, поспевая за ним, — не знал, что Жискар д'Эстен решил подморозить очаг вольнолюбия...

— Где тут продаются резиновые грелки? — спросил он у вокзального милиционера, который от изумления схватился за ягодицу, где был пистолет. Настаивать Ярик не стал, поскорей увел меня на стоянку такси.

В ответ на его вопрос таксист задумался на мгновение, а потом молча, но уверенно тронул с места.

Он привез нас к «Аптеке» в устье улицы Горького, напротив небоскреба «Националя» (в описываемую пору еще зияющего отсутствием, но уже бывшего в проекте). Грелки в аптеке были. И даже двух разных цветов, так что когда продавщица вынула по серо-буро-малиновой, я попросил себе голубовато-зеленоватую. — Не морочьте мне голову, юноша! — крикнула продавщица, но сменила все же, при этом угрожающе глянув на Ярика, чтобы предупредить каприз с его стороны. Обе грелки были характерного дохлого цвета, свойственного резиновым изделиям

этой страны, и вызывали ассоциации из области судебной патологии; все же мой оттенок был веселей.

— А ты, я вижу, эстет, — усмехнулся он.

— Просто обожаю нюансировать абсурд, — отозвался я. — В этой жизни главное — нюанс. Что же касается твоего выбора, то я не понимаю, зачем тебе Сорбонна? У тебя, друг мой, чисто английское чувство юмора!

— Это не юмор. По пути в Париж мы в эти грелки будем ссать.

— Вот именно, — сказал я, — *кипячком*...

*

Это была, однако, не practical joke. Это была преступная операция под кодовым названием «Сорбонна». Все ее детали мы обсудили в три последующих дня. Оставался нерешенным главный вопрос: готов ли я принять в ней участие?

Схема международного спального вагона в разрезе обнаруживает люфт между крышей и потолком, этакий чердачок, узкую щель, забившись в которую на Белорусском вокзале, мы должны были пролежать трое суток, справляя малую нужду в грелки, большую в полиэтиленовые пакеты, питаюсь шоколадом, глюкозой в таблетках и сиропом из шиповника. После этого мы записывались в Сорбонну, освобождаясь на всю оставшуюся жизнь. В случае благополучного исхода. В негативном случае нас проглатывает сверхдержава и переваривает лет 10-15 за «измену». В чреве Сибири. Я старался не рисовать себе образы лагеря, из которого в году этак 1984-ом нас выпустят обратно в СССР, я старался сосредоточиться на главном: хочу ли я потерять свой советский опыт?

Обсуждать план «Сорбонна» в стенах МГУ, имеющих, по сведениям моего друга, уши, было рискованно, так что разговоры мы вели на открытом воздухе, под беспощадным солнцем августа, заодно знакомясь с Москвой. Или прощаясь?..

В последний день перед побегом мы созерцали столицу, облокотясь на горячий, до зеркального блеска отшлифованный гранит смотровой площадки бывших Воробьевых (с 1934 — Ленинских) гор, дорогих сердцу каждого патриота тем, что именно здесь когда-то мальчики Огарев и Герцен поклялись посвятить себя борьбе за свободу. Ах, горы Воробьевы! Судьбоносное

место. Место не всегда и не так сбывающихся надежд. Здесь, над Москвой, Александр I предполагал поставить грандиозный храм Господень после победы над Наполеоном, который, скрестив рўки, созерцал аванпост Востока отсюда же... Церковка махонькая тут, с левого фланга, прилепилась, но вместо запроектированного царем божьего храма на Воробьевых горах Сталин воздвиг здесь «Храм Науки», наш Университет. Имея его у себя за плечами, мы смотрели над Москва-рекой, куда, сразу из-под парапета, обрывалась выгоревшая листва лесистого левобережья, и вся Москва была перед нами... Великий город! Нет, конечно, у меня, петербуржца, он вызывал безоговорочное архитектурное отрицание. Сведующие люди говорят, что по Нью-Йорку нельзя судить о Штатах; о России же, мне кажется, судить не только можно, но и должно вот по этому концентрированному торжеству беззакония на противоположном, низком берегу Москва-реки. Беззакония безудержного, буйного. Что есть Москва? Отсутствие образа. Без-образие, сталкивающее лбами Новодевичий монастырь с Большой спортивной ареной в Лужниках и создающее внутри Кремля Дворец съездов, а поперек Арбата — проспект Калинина. Форменное безобразие. Воплощаемое, впрочем, с замечательной энергией. И тем не менее ни Европа Азию, ни Азия Европу на этих семи холмах еще не победила. Они все еще продолжают здесь свой поединок, вот уже девятое столетие не выходя из объятий жестокого клинча.

Молчание нарушил Ярик:

— Так как же, друг... решил?

— Решил. Воздерживаюсь.

— Так...

— Я хочу стать писателем, Ярик. Русским.

— «Писателем»... Тоталитаризм исключает литературу.

— Но ведь не жизнь? Мне нужен жизненный опыт. Понимаешь? Не могу я в свете своих задач, как говорится, в семнадцать лет взять вот так и вырвать с корнем российскую мою судьбу.

— Советскую...

— Но русскую в основе. Отречься от призвания, от миссии? Да нет же, Ярик, я всерьез! Здесь, под этим небом, я чувствую себя несчастным. Так ли я понимаю смысл своего присутствия, нет ли — время покажет. Одно я чувствую безошибочно: место мне здесь.

— Мистицизм напускаешь? Ты же, по-моему, только из пажонства питерского носишь свой крестик. Ладно. Молчу. Твои дела.

— Если угодно, — возобновил я попытку объяснения, — то для меня здесь фронт. Тогда как Париж, если серьезно говорить, глубокий тыл.

— Ты что, сражение им хочешь дать? Еще и Георгиевский крестик заслужить? Знаешь, я тоже не тыловая крыса. Тем не менее, — ожесточенно сказал он, — лично я отсюда убываю. Потому что никакого фронта здесь уже нет. Пейзаж здесь после битвы. Которая отгромыхала давным-давно, и не в вашу, сударь, пользу.

— Если бы так, то нас бы уже не было.

— А нас и нет. Давно.

— Ах, вот как...

— А ты еще не осознал? Оглянись! Ты же писателем хочешь стать, так развивай свою наблюдательность. По-твоему, вокруг нас люди? Да это даже и не звери! Гнусь. В тайге привязывают человека к дереву, на другой день ничего не остается. Был человек, стало черное копошение. Куча гнусов, каждый из которых страшно счастлив, урвав свою капельку крови. Быть съеденным этой массой? Ты как знаешь, я не хочу. Я жить хочу, ибо, — усмехнулся Ярик, — как раз не мазохист я. Мазохист не я.

В знак несогласия я молчал.

— Ладно... Но ты меня в вагон завинтишь?

— Завинчу.

— Тогда Буткова я из игры вывожу...

В процессе подготовки к операции Ярик завербовал на подсобную роль одного своего земляка, лопуха шестнадцати неполных лет, абитуриента из сибирского села Шушенское, где при царе блаженствовал в ссылке Ленин. Теперь Шушенское превращено в мемориальный центр Сибири, но на свет Божий приводит отнюдь не ленинцев, а совсем наоборот, судя по означенному Буткову, который должен был затянуть обратно болты на крыше международного вагона и замазать их мазутной грязью так, чтобы в Бресте, на госгранице, солдаты погранвойск КГБ ничего подозрительного не заметили: по сведениям Ярика, экспресс «Ост-Вест» они проходят и по крыше тоже.

— Завинчу-завинчу, — сказал я. — Будь спокоен. Скажи, а ты помнишь финал «Мастера и Маргариты»?

Не помнил он. И даже не подозревал о существовании такой книги. Беллетристика его «не ебет», он — лингвист. Вдохновившийся лозунгом Карла Маркса: «Иностранный язык — оружие в борьбе за жизнь».

— Дело в том, — перебил я невежу, — что роман Михаила Афанасьевича Булгакова кончается именно там и на том, откуда мы с тобой начинаем. Вот с этих самых, еще не Ленинских, а Воробьевых гор стартует на Запад Князь тьмы со свитой бесов, прихватывая, между прочим, с собой писателя. Мастера. Масона. Строителя Соломонова храма. Когда-нибудь здесь еще поставят памятник.

— Против евреев я ничего не имею, но монументальной пропаганды терпеть не могу.

— Я тоже, но для Мастера бы сделал исключение.

Оттолкнувшись от горячего гранитного парапета, мы повернулись, прошли между двумя двухэтажными автобусами английского туристского агентства и по размякшему асфальту побрели к громаде МГУ на горизонте, продолжая разговор о романе.

— Да, — говорил я, — да. Мастер выбрал свободу. Но Мастер был в изнеможении. Ангелоподобные бесы вынесли его с поля боя, как сестры милосердия. Я же, друг мой, полон сил. Мне не в тыл, мне на передний край попасть бы. Но как, как мне туда попасть? Вот в чем вопрос.

Я принял стойку и, прыгая рядом с Яриком, шагавшим размеренно и мрачно, вступил в яростный бой с тенью, сразу же, по такой жаре, облившись потом.

*

— Дело, похоже, к грозе.

— Хорошо бы...

Ночь. Столица уже спит, только разлив железнодорожных путей внизу продолжает жить своей тревожной жизнью в свете прожекторов. Далеко видно с моста. Мы перекуриваем, облокотясь на перила. На плече у пассажира фирменная сумка «Air France».

— Вон тот вагон, видишь? — показывает он. — Главное, до него добраться.

— На Запад из самого центра Москвы... ну, друг! Безумству храбрых.

— Никакого безумства, друг. Все, как в аптеке... — Он стреляет окурком вниз, сдерживает зевок нервозности. — Ладно. Двинулись?

Русло Белорусской железной дороги защищено простым деревянным забором. Мы пробираемся к нему по кочкам мусорного пустыря, потом проходами между какими-то гаражами. Ярик сдвигает заранее выбитую доску, и мы — уже нарушители — протискиваемся в «полосу отчуждения». Термин-то какой! Теперь — перебежками. Тень. Свет. Скатываемся в овраг, полный мусора. Выползаем. На бруствер. Где-то за стенами вагонов продвигается тяжелый состав. В ожидании, когда шум его порвнется с нами, Ярик неторопливо обрывает лепестки ромашки. Губы его шевелятся: «Любит. Не любит. Плюнет, поцелует. К сердцу прижмет... к черту пошлет... И пусть!» Он вскакивает. Мы бежим к первой линии вагонов, подныриваем, переползаем рельсы, попадаем под прожектор, тут же бросаемся под следующую стену и замираем на шпалах. Перед нами, прогибая рельсу, прокатываются колеса товарняка, который кажется бесконечным, но внезапно обрывается, с грохотом унося охранника с винтовкой, спящего сидя на тормозной площадке последнего вагона.

И вот он, наш «Ост-Вест»! Отцепленный. Бросок, и мы вползаем под него, чтобы выбраться наружу с теневой стороны. На боку у вагона табличка:

МОСКВА
БРЕСТ — ВАРШАВА — ПОЗНАНЬ
БЕРЛИН — КЕЛЬН
ПАРИЖ

Ярик прижимается щекой к теплому металлу обшивки. И вдруг его откачивает, палец на губах. Кто-то с той стороны. Приближается похрустывание щебня — грузное, усталое. Пролетариат. Идет и ведет беседу на два голоса. Пожилой: — Не числили премиальных, в том твоя вина: не залупайся. Было время, я тоже залупался. Было да сплыло. — Пренебрежительный плевок, после чего молодой с яростью: — Да ебал я его! — Еби, — не возражает пожилой. — Но еби его с умом. Про себя. — Как же я могу про себя, когда он меня матом в лицо. Или я не человек?! — Ладно тебе... Ты вот чего: по утрянке заходи. Может, матч повторят: посмотрим, пивка попьем, глядишь, сообщи что и надумаем...

— Надумают они! — говорит Ярик, когда хруст удаляется. — После пива за поллитрой сбежать... Эх, класс-гегемон! Ладно. Берем теперь вертикаль.

По крыше косо бьет прожектор. Пошевелиться страшно. Кажется, вот-вот на всю Москву завоюет сирена тревоги. Подняться на колени в этом свете еще страшней. Но подняться приходится: из позиции лежа гайки не поддаются. Инструмент у нас — лучше некуда. Made in Germany. За бутылку водки его нам вынес под полой слесарь Митя из университетских мастерских. Но налегать все равно приходится обоим сразу, в четыре руки, и этот болт разворачивает нас по крыше, грозя сбросить. С одной стороны — стена света, с другой — черный провал. Со стороны прожектора опять подходит шум товарняка, мы залегаем. Плашмя. Потом снова принимаемся за работу. Медленно, но все верней она раскручивается, и вот остается только приподнять и сдвинуть люк... Вдруг окрик:

— Эй!

Наши глаза прикипают друг к другу.

— Вы чего это там?

Ярик схватывает сумку. — Атас! — Он сбрасывает себя в зарево, в слепящее. Вниз, в щель грохочущую, под колеса товарняка, летящего поперек ночи прерывистой стеной.

Я оглядываюсь. С той стороны на крышу лезут со сладострастным криком:

— А ну, ни с места! Врешь ведь, не уйдешь!..

10 лет? Нет, лучше смерть. Я сползаю, сползаю, сползаю, потом отталкиваюсь и — как постороннее уже — сбрасываю свое тело вниз. Только бы не зацепило... не убило бы...

Тело ударяется, вперед руками едет по полосе щебня рядом с набегающими колесами, тормозит себя, обдирая ладони, вскакивает, целое, — и мы с ним вновь сливаемся в экстазе.

Улетающий во тьму Ярик что-то крикнул, махнул рукой.

Изо всех сил я погнался за ним, обгоняя колеса этого тесного коридора, рванулся, поймал столбик поручня, рывок — и судьба меня выдергивает из ситуации, чреватой необратимыми последствиями: милиция, побои. Суд — «народный». Приговор — казенный. О Господи! Этап в Сибирь. Барак. Лесоповал. Сифилитический лагерьный «козел» расстегивает надо мной свои вонючие портки, чтоб разорвать мне, скрученному, задавленному, полузадушенному, мой девственный, мой петербургский анус. И

возвращение потом сюда же, в СССР: в 1984-ом...

Все во мне еще дрожало. В нише тормозной площадки пластался друг — живой и страшный. Хлопнув его по плечу, я отвернулся. Уперся ногой в щиток и придавил себя к стене. Слева пролетела «горка» диспетчерской, и — как бы набирая высоту — я увидел, что от нее к оставленному нами месту ЧП сломя голову несутся две фигурки, и одна, в военной форме, на бегу выдерживает из кобуры застрявший пистолет. Крылья свободы распахнулись во мне. Ангельские? сатанинские? Кровоточащей ладонью я крепко вмазал себя по локтевому сгибу правой руки и показал им, всем им во-о-от такой, крича при этом что-то ликующее, чего сам не расслышал в выбивающем все звуки грохоте спасения:

— Врешь, не возьмешь! Ур-ра-а-аа!..

*

Спрыгнули мы далеко от Москвы. Поочередно и грамотно — по ходу поезда. Скатились под откос и по локти въехали в одно и то же болотце. Грохот над нами оборвался, и болотце кротко замерцало серебром, восстанавливая разбитую нами луну. Я вытер руки о траву и поднялся навстречу хромающей его тени.

— Ты как?

— Нормально. Ты?

— Стрелки на часах соскочили.

— А я ботинок потерял.

— Найдем давай?

— Сперва перекурим.

Из подножия откоса торчал валун. Я обхлопал его теплый лоб. — Врезались бы, мозги вдребезги.

— Промахнулись... А ради чего?

Мы присели на камень. Он вынул сигареты. Они были все переломаны. Он выбрал два обломка побольше, и мы закурили. Сидели и затягивались, созерцая восточный горизонт. Зарево «образцового коммунистического города» стояло над ним.

— Вот так, — подвел он итог. — Come back to USSR.

Снял с себя оставшийся ботинок и забросил в болотце, разбив при этом луну. Носки на нем были драные.

— А стоило ли, друг? В СССР ведь принято ходить в ботинках. Все же...

— Но, к счастью, можно не в советских, — ответил он, мазохично разрывая дыру над коленом своих брюк. — Абзац! Завтра же куплю себе шузы, джинсы, как у тебя... А хули? Содержание сменить не удалось, так сменим форму. А там еще посмотрим, кто кого.

Я положил руку ему на плечо. Подержал и убрал. Докурив, мы встали и пошли на восток. На скошенных лугах чернели грузные стога сена, накрытые полиэтиленом. В березняке было светло от мелового излучения стволов. На опушке прыгала стреноженная лошадь. Ярик скормил ей буханку орловского, запасенную в дорогу, потом вынул витамин С с глюкозой в таблетках и, разрывая облатку, сказал: «Россия, родина моя...» Беря таблетки с ладоней, лошадь сильно и тепло дула нам на руки. Втроем мы доели содержимое его авиасумки и, развязав ей ноги, пошли дальше налегке. Из березняка мы поднялись на шоссе, где через пару километров тормознули зеленый огонек такси.

Пока мы бежали к машине, шофер на всякий случай закрутил стекло, оставив, впрочем, щель.

— Мне в Москву, — сказал он.

— Нам тоже.

— Куда в Москве?

— На Ленинские горы, к МГУ.

— Студенты? Влезайте! — отомкнул он дверцу. — Кто это вас так отметелил? С подмосковной шпаной, небось, кралю не поделили? Точно? У меня, парни, глаз: сходу ситюэйшн просекаю. Как насчет подлечить душевные раны?

— Если есть, давай, — сказал Ярик.

— Как нет, есть! Для таких вот, как вы, и вожу. Для ходочков ночных. — Он снял руку с «баранки», опустил под сиденье и подал через плечо бутылку. Донышком к нам. — Червончик. Увы, ребята, ночная такса... Берете? Молодцы, узнаю студентов! А как насчет клеветон прослушать? В столице глушат невпротык, а здесь, бывает, прорываются...

С «Маяка», сообщавшего о «битве за урожай», он передвинул волну своего транзистора на мюнхенское Радио Свобода. Слышимость была приемлемая. Поочередно прикладываясь к бутылке, мы дослушали передачу из серии «Юность без границ». О летних миграциях сверстников на Западе, которые со скидкой на юные свои годы могут купить километраж и в его пределах за каникулы исколесить Европу вдоль и поперек. («С-суки», — сказал

Ярик). Программа новостей пошла уже с купюрами надсадного завывания: чем ближе к Москве, тем плотней глушили. Вдруг я поперхнулся водкой. Мы оба подались вперед, услышав, что босс комсомольской организации МГУ имени Ломоносова... («Сделай громче, шеф!») «...находившийся на Западе в составе официальной делегации советского студенчества, обратился с просьбой о предоставлении политического убежища УАУАУА в ходе пресс-конференции он мотивировал свое решение не возвращаться в Советский Союз отсутствием там УАУАУАУА на вопрос корреспондента западногерманского еженедельника «Шпигель» о причинах политической пассивности советских студентов, особенно контрастной на фоне нарастающей активности их сверстников на Западе, он ответил, что полная зависимость университета от государства, идеологический контроль и репрессивные меры исключают какую бы то ни было возможность УАУАУАУАУ...»

Выключив транзистор в виду поста ГАИ у въезда в столицу, шофер сказал:

— Складно брешет. Не знаю, как вы, ребята, но лично я за него спокоен: на задворках капитализма не пропадет. Ваш, что ли, гусь?

— Уже не наш, — сказала я.

— Да, — вздохнул шофер. — Бегут. Постепенно начинают бежать. С другой стороны, кому и бежать, как не им? Взять хоть меня, к примеру. Дай, думаю, свожу свою в Болгарию. На Золотые пески. Ну, что такое Болгария? Шестнадцатая республика, так? Так нет же! Мордой меня об лавку: моральный облик, понял, не тот. В пределах отдыхай. А им, бобрам, им все пути открыты. Даже на свободу. Как этот ваш... Выбивался, поди, рос над собой. Мозги пудрил себе и людям. А надоело руководить, отъехал себе за бугор и освободился. Одно слово, бобры!

— Vox populi, — заметил я, передавая Ярику бутылку.

Взболтав водку, он всадил себе в рот горлышко и запрокинул. После чего утерся тыльной стороной ладони.

— Э, нет! — сказал. — Путем бобра мы не пойдем...

Москва спала, потушив уже и уличные фонари. Молча мы неслись сквозь августовскую тьму. С Комсомольского проспекта над высоким горизонтом возник МГУ — сначала сигнальными огнями. Потом пропал, потом не удержиимо стал прибли-

жаться, нарастать — все мириадой бессонных дыр-окон. Их стусок пульсировал: одни гасли, по одному, но в разных местах, а то и целым рядом, тогда как в то же время другие вспыхивали. Как будто код моей судьбы на перфокарте подбирал в этой ночи некто одержимый тягой к абсолюту: записывал, вносил поправки, вновь стирал, отбрасывая вариант за вариантом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: *ВЫБОР ОРУЖИЯ*

«Как человек действия, он проснулся первым. Времени не было: часы на моей свисающей руке были без стрелок. Сигарет не было тоже. Он обжег губы, раскуривая последний из вчерашних обломков. Сделав полторы затяжки, щелчком отправил окурок в окно и откинул простыню.

Телом он строен и гибок: сибирский матадор. Мышцы не выпирают, но под тонкой белой кожей мускулатура у него стальная. Не уступает воле. Волю он проверяет, мастурбируя под душем после бритья. Обрывая манипуляции у самой границы, за которой у безвольных включается механизм неостановимой эякуляции, он перекрывает кран горячей воды; стоя под холодной, он старается дышать медленно и ровно. Одеваясь в комнате, он поглядывает на меня, спящего, с обоснованным превосходством. Брюки на нем рваные. Он закатывает рукава своей грязной нейлоновой рубашки и выходит. Босиком.

На этаже три кухни — в разных концах коридора. Если рано выйти, то там, под забитыми крышками мусоропроводов, есть возможность обнаружить вполне носибельные вещи, выброшенные «форинами» — иностранными студентами и стажерами. Вчера перед сном, однако, «форины» обуви не выбрасывали. Зато на подкрылке одной из газовых плит, где на огне гудел кофейник, лежала пачка «Кента». Вынув две сигареты, он покинул кухню, разминувшись в коридоре с владелицей пачки, наивной скандинавкой, которая на бегу радостно ему улыбнулась и сказала с акцентом: «Здравствуй!» Одну из украденных сигарет он положил мне на стул, другую выкурил сам. При этом он пересчитал свои деньги. От тысячи, которой финансировала его мать

для поступления в столичный университет, оставалось еще много. Он сунул деньги в карман, подтянул брюки и вышел. Я продолжал спать.

Лифтом он спустился до цокольного этажа. Там, у вертикального въезда в наш корпус, висела доска объявлений о купле-продаже. Он сорвал одно объявление, подумав обо мне, потом еще одно — о продаже джинсов. Прежде чем идти по объявлению, он спустился в столовую. Там он позавтракал: съел пончик со сливовым повидлом, выпил молочный коктейль и купил пачку «Столичных». Хорошо было бы закончить чашечкой кофе, но никелированный итальянский агрегат «Espresso» за стойкой буфета не работал. Не заработает он, «Эспрессо», ни завтра, ни через месяц, ни разу в течение пяти последующих лет, но все равно следует помянуть его добрым тихим словом, ибо и бездействуя он одним своим западным лоском выполнял миссию по поднятию тонуса. Сдачу Ярику бросили на липкий мрамор. По одной он отлеплял свои монеты, а потом сказал: «Вы мне десять копеек недодали». — «Да пошел ты! — замахнулась грязной тряпкой грязная буфетчица. — Тоже мне!..» Но он, проверяя сопротивляемость, остался у стойки, заставленной миллионом грязных стаканов, пока буфетчица, злобно прошипев, не швырнула ему гривенник.

Из столовой он поднялся в вестибюль корпуса, помпезный, многоколонный, ввернулся в турникет, отделанный дубом, бронзой и медью, вышел на солнце и широкой лестницей спустился во внутренний двор, с флангов замкнутый более низкими корпусами общежитий, а спереди отгороженный от внешнего мира высокой чугунной решеткой с воротами в ней и будкой проходной. Это был наш мир. Его угол. По диагонали Ярик пересек горячий асфальт и поднялся по граниту лестницы в зону «Д».

Продавцом джинсов и прочей ношенной, но западной одежды оказался итальянец, стажер из Римского университета по имени Марио. Увидев перед собой босого советского студента, он даже засмеялся от удовольствия. Он вынул из шкафа покоробленные сапоги, джинсы, рубашку, свитер и покровительственно хлопнул клиента по плечу: «Одену тебя с ног до головы!»

— «А не педрила ли этот Марио?» — спросил себя Ярик, запершись в благоуханной душевой, битком набитой зубными пастами, полосканиями, бритвенными кремами, лосьонами до

бритья и после, дезодорантами, тальком, запасами бритвенных лезвий и прочими мелочами непонятного с первого взгляда назначения. С любопытством все это разглядывая, Ярик натянул белые джинсы, вбил ноги в красное сапоги, застегнулся в розовую рубашку, предварительно убедившись по ярлыку, что английская, — и не узнал себя в зеркале. Вылитый «форин»! Еще в большей степени, чем этот Марио с его грузино-армянской внешностью. Немного портила впечатление прическа а ля Ринго Стар, которая в Сибири еще шокировала аборигенов, но здесь, в столице, уже вышла из моды. Дело поправимое. Перед тем как покинуть душевую, Ярик вынул из пластмассовой обоймы бритвенное лезвие «Gillet», оторвал таблетку «Alka-Seltzer» и английский презерватив. Все это он бережно спрятал в задний карман своих первых в жизни джинсов.

По законам коммерции римлянин Марио изобразил отпад, то есть, полный, и даже обнял и обхлопал преображенного и очастливленного клиента. После этого Марио угостил его советской сигаретой из пачки, рассчитанной на гостей («Мальборо» итальянец курил только в одиночестве). Ярик вынул из старых своих штанов пачку денег и, морщась от дыма, спросил: «Сколько?» Марио держал в уме цифру «200», но при виде пачки на всякий случай сказал: «Триста», которые Ярик ему тут же и отстегнул.

Марио пересчитал, после чего в знак любезности завернул нейлоновую рубашку и рваные брюки из лавсана в старый номер газеты итальянских коммунистов «Unita». Взаимно довольные, они пожали друг другу руки. В дверях Ярик сказал «ариведерчи» и, приятно рассмеявшись, итальянец еще раз хлопнул по плечу советского юношу.

Сверток со старой одеждой Ярик по пути в свою зону затолкнул в гипсовую урну сталинского образца».

*

— Вам кофе, граф, в постель? или ну его на хер?

Я не поверил. Утренний кофе, это для нас с бабушкой было святое, но им, которые вне Питера, того не понять. Сбросив тем не менее подушку, в его пальцах я увидел блюдце с дымящейся чашечкой позлащенного фарфора. После первого глотка мне на нижнюю губу лег белоснежный фильтр американской сигареты. Он поднес мне спичку, после чего спросил:

— Ну, не томи, законодатель вкуса. Первое впечатление?
Заложив нога на ногу, он сидел передо мной в розовой рубашке и темно-вишневых сапогах.

— Сакура, — сказал я, — в полном цвету.

Он просиял.

— А джинсы — ты обратил? Настоящий Левис. Три сотни отдал. За все про все.

— Вместе с этой чашечкой? — Допив кофе, я разглядывал на дне ее дракона.

— Без чашечки.

— А она откуда? — поднял я глаза.

— Пизданул.

— То есть?

— Ну, позаимствовал. На кухне. А хули?

— Снеси обратно.

— Ты что, Алеша?..

— А то. Советского отношения к частной собственности не выношу. Сделай милость, а?

— Так не советскому принадлежит, а форину! У них и так все есть, не обеднеют.

Я сбросил простыню и влез в халат.

— На какой кухне стояла?

Он побледнел так, что все его прыщи обесцветились. Взял у меня с блюдца чашечку и хлопнул об пол. Посмотрел на меня — и еще сапогом раздавил, ввинчивая в крошево каблук:

— Вот им — за свободу слова! Вот им — за свободу печати!
Вот им — за все!..

Я ударил его. Опрокинув стул, он отлетел и грохнулся о дверь. Вскочил и поднял кулаки.

— Продукт с-системы, — процедил я, опускаясь на диван. — Что смотришь? Бей!

Он повернулся и вышел. Я слышал, как он освежался в душевой. Вернулся он влажно-зачесанный. Расстегнул свою авиасумку и стал собираться.

— Далеко ли?

Выдержав паузу, он сказал:

— К твоему сведению. Раз в жизни на меня подняли руку. Мне было тринадцать. Сожитель мамашин, начальник конвоя. Вскоре после этого он попал в больницу. С травмой черепной коробки. Некто оставшийся неизвестным подстерег его в пургу

и приложил гантелью. Пятикилограммовой.

— Что ж, доставай свою гантель и будем квиты.

— Нет, я просто не пойму никак. Вчера ради меня на риск пошел, а тут вдруг из-за этой мелочи! — Он пнул фарфоровые крошки. — Ладно. Не поминай лихом. Перекурим?

Я взял предложенную сигарету. — Куда это ты?

— На Красную площадь.

— На Красную площадь?

— В Мавзолей, — уточнил он. — Ни разу в жизни Ленина не видел, охота повидать. Заодно и в ГУМ зайду. Лодку куплю надувную, ну и по мелочи: маску, трубку, ласты. А там, друг, на Черное море. Ты меня понял?

— Не совсем.

— Круиз хочу совершить. На бывшем фашистском пароходе. Который раньше назывался «Адольф Гитлер», а теперь знаешь как? — Он усмехнулся. — «Отчизна».

Мы помолчали, глядя друг другу в глаза.

— В детстве, — сказал он, — еще батя был жив, мы на нем прокатились раз. Тогда еще там на ступеньках, вот как из ресторана на палубу поднимаешься, набойки такие оставались. Железные. И на каждой — прежнее название. Готическим шрифтом. Батя мне, помню, тумака отвесил, когда я обратил всеобщее внимание, зачитав набойку вслух. Они там были, но замечать их было нельзя. А у бати моего рука была, ох, тяжелая...

В молчании мы докурили. Он поднялся.

— Что ж. Пожелай мне.

— Чего?

— Известно чего. Непогоды. Хорошего шторма с ливнем, желательного ночным. — Он подмигнул мне. — Чтобы радары их отсырели...

— Желаю.

Он задержал рукопожатие. — А может, на пару бури поищем?

Я промолчал.

— Ладно, забудь! Ищи их *тут*. — Ткнув меня пальцем в грудь, он вытащил из кармана джинсов сложенную бумажку. — Держи. По-моему, это тебя больше заинтересует. Прощай.

Я ответил:

— До свидания.

— Ну, разве что на том свете, — отозвался он, закрывая за собой дверь.

Оставшись один, я сел. Я сидел, созерцая втоптаннные в паркет крошки фарфора. Потом я увидел у себя в руках бумажку. Развернул. Это было объявление. Напечатанное на портативной машинке «Колибри», которая — глазам не поверил! — *продавалась*. Семизначный московский телефон был приложен. Я вскочил.

*

По телефону *жирный* мужской голос заломил ей цену:

— Сто пятьдесят.

Что ж, решил я сразу. Загону свое «русское серебро». Не знаю, каким образом, но в Питере я рос и вырос *вне* денег. Здесь и сейчас, быть может, впервые за семнадцать лет я осознавал всю условность своей финансовой ситуации в этом государстве, которое до совершеннолетия (еще полгода будет) выплачивало мне, как сироте, пенсию за погибшего «при исполнении» отца: сорок пять рублей в месяц. Вдвое ниже официального прожиточного минимума. Большого в глазах государства я не стоил, и совершенно справедливо. Проблема была не в этом, а в том, что от последней выдачи у меня остались три пятерки. Но, к счастью, я захватил с собой в Москву свою отроческую коллекцию монет. Ее можно было превратить в капитал. Но где?

Я набил монетами свою самодельную брезентовую сумку, на боку которой еще не стерся выведенный школьными чернилами лозунг эпохи «MAKE LOVE NOT WAR», — и выехал в город. Был уже конец рабочего дня, когда на улице Горького, не доходя до Пушкинской площади, я разыскал дверную табличку с надписью: «Правление Всесоюзного общества коллекционеров». Я поднялся и открыл дверь.

По зову кассирши выкатился старикашка, брюхатый и потный:

— Мы на сегодня кончили, юноша! Что там у вас?

— Русское серебро.

Что-то шевельнулось в этих вареных глазах.

— Серебро, оно разное, — ворчливо сказал он. — Если полтинники двадцатых годов, то сразу предупреждаю: на большую сумму не рассчитывайте.

— Мое серебро, — брякнул я сумкой об стол, — вышло из обращения в октябре Семнадцатого.

Старик мигнул кассирше, которая уже красила губы. Из соседней комнаты выползли еще трое правящих стариков. Обговаривая свои дела по руководству собирателями этой страны, они не упустили из вида моей сумки. Один отвлекся:

— Что-нибудь интригующее?

— Помилуйте, откуда? — ответил мой старик... — Паратройка полтинничков. Из тех, что бабушка откладывала на черный день.

— Так мы вас тогда подождем.

— А зачем? Вы спускайтесь, спускайтесь. Освежитесь пока нарзанчиком. — Мой старик бросил мне взгляд, умоляя не расстегивать сумку при его коллегах, обещая за это не остаться в долгу... — И кстати, — спешил он, — пора уже со всей остротой поставить перед правлением вопрос о выделении средств на вентилятор. Даже я еще жабрами шевелю, а вам-то как, Лев Ильич?

Объединяться в заговоре я не пожелал. Отстегнул клапан и вылил серебро на синее сукно. А вылив, сам поразился великолепию своей коллекции. Обернутые в целлофан, монеты были в идеальном состоянии. Чистые, выпуклые, не тронутые низкими страстями рельефы. Мерцающе-нежным туманом был подернут «трехсотлетник» со сдвоенными ликами царей Алексея Михайловича и Николая Александровича. Отчеканенный в тринадцатом году по случаю 300-летия дома Романовых, он словно только что вышел из-под пресса Санкт-Петербургского монетного двора.

Первым опомнился тот, кого называли Лев Ильич.

— «Пара полтинничков»... — Он засмеялся от удовольствия. — Ну и хитрец! — После чего, выворачивая карманы, вытащил конторские нарукавники и, этак томясь и победительно взглядывая на «моего», натянул бюрократические эти аксессуары. — Тут не «пара полтинничков», тут музыки как минимум на час.

Удостоверившись, что в кассе есть наличность, он отпустил кассиршу «на зов вечерних наслаждений», после чего скомандовал:

— Вперед, товарищи!..

Старики вплотную обсели мое серебро. Началась сортировка. Один, наклеивая на палец, выбирал лепестки удельных русских княжеств, другой охал над мелочью. Лев же Ильич, вооружив-

шись сильной лупой, взялся за рубли. Для начала он развернул из целлофана «крестовик» — с Петром Великим в рыцарской кольчуге. По нашим временам, «крестовики» большая редкость; моему же, отежаненному в год основания Санкт-Петербурга (1703), не было цены. Презентовала мне его графиня Воронцова-Пистолькорс. Без повода. Спонтанно. Отщелкнула вдруг ридиколь: «возьмите это, мальчуган. Как говорится, in memoria».

— Жизнь за царя! — Лев Ильич чмокнул «крестовик». — За этот рубль десять вас устроит?

Я взял монету, обернул и положил в карман.

— Вне коммерции, — сказал я. — Сожалею.

О, как он взвился! Грозил, что вообще откажется. Молил, что без Петра династия рублей будет неполной. Выкладывая ее на сукне по царям и датам чеканки, убивался. Потом, пошептавшись, старики поставили меня перед выбором. Оценивать каждую монету по отдельности или я согласен оптом? Если по отдельности, сверяясь с каталогом, то «перенесем на завтра».

До завтра «Колибри» могла уйти.

— Оптом, — сказал я.

— Ну что же... — Они переглянулись. — Двести вас устроит?

Я нахмурился, чтобы не выдать ликование.

— Что, понятно, объективно не отражает стоимость данной коллекции, — оговорился Лев Ильич. — Но, с другой стороны... Заметьте, нас при этом не интересует ее, так сказать, генезис...

— Это моя коллекция! — возмутился я. — Я сам ее собирал!

— Конечно, конечно! — замахал руками Лев Ильич. — Что, согласитесь, недоказуемо, с другой стороны. Человек вы еще юный, только вступающий в жезнь, а данное собрание, если взглянуть на него тематически, отражает... э... не совсем юное и уж совсем не наше умонастроение. Тут с первого взгляда бросается ностальгия по самодержавию, в борьбе с которой мы вот со товарищи (он приосанился) отчасти даже проливали кровь.

Я не выдержал:

— Чью, если не секрет?

— Как вы сказали? — не допоял Лев Ильич. Но тут же возопил. — Но-но! Не забывайте, юноша! — он на глазах стал наливаться апоплексической кровью; но вдруг, как бы раздумав, отхлынул разом и предложил мне «взвесить еще раз. Мы не торопим».

— О'кей.

— Иными словами?..

— Я же сказал уже: согласен.

Мне отсчитали восемнадцать розовых бумажек. Я поднял глаза: а еще два червонца?

— За вычетом 20 процентов, — приятно улыбнулись мне мертво-синие губы. — Как положено. У нас не черный рынок.

*

«Колибри» стояла на подоконнике. Она не упорхнула, но цена за это время поднялась. Двести, сказал продавец. Весь день обрывают телефон. Спрос, оказывается, подскочил. Вот уж не думал. Привез бы несколько. В ГДР их с русским шрифтом навалом.

Это был первый дом нового микрорайона. Внизу строился еще один, рядом с ним рыли котлован. Поодаль, рядом с небольшой кладбищенской часовней, стоял бульдозер, опустив до завтра свой скребок.

— Так как?

Молча я стал выкладывать деньги. 180. Еще три пятерки, остаток от пенсии. Металлический рубль с профилем Ленина. После чего выгреб мелочь.

— А я ведь тоже филфак кончал, — сказал продавец. — По Гете защищался. Да, «Dichtung und Wahrheit»... Неперспективный факультет. Пришлось менять квалификацию. Зато теперь я — сами видите.

Его новая квартира была забита мебелью. Повсюду громоздилось, как говорят по-русски, «добро», еще нераспакованное. Посреди гостиной поблескивал гляncем заграничный унитаз. Самодовольно-розовый.

— Юноша пылкий, со взором горящим, — сказал нувориш. — Я знаю, зачем вам машинка. Хотите совет, даже два? Не размножайте на ней Самиздат. И вообще: подвергните ревизии свой жизненный проект. Гуманитарное время кончилось.

— Как раз, по-моему, начинается, — ответил я. — В начале было Слово. Здесь восемьдесят семь копеек. Вот.

— Ах, оставьте! Было. *В начале*. А мы живем — в конце. Оставьте, говорю вам, на такси. Владейте, — вручил он мне «Колибри». — Абсолютно девственна. Плюс новая лента.

Наподнимавшись «добра», лифт не работал. Окрыленно я за-

гремел вниз по лестнице. На площадках стояли батареи выпитых бутылок, из-за дверей доносились магнитофоны. «Где же наша звезда?» — с горечью спрашивал Высоцкий, и он же, тремя этажами ниже, отчаянно надрывался в сопровождении пьяного хора: «Обложили меня! Обложили!» Образумившиеся бунтари минувшего периода справляли новоселье. Выйдя, я, как герой Осборна, оглянулся на «башню» конформизма. Тогда, в семнадцать лет, я твердо знал: мне здесь жилплощадь не дадут.

*

У себя в комнате, запершись, я расчехлил «Колибри». Я взял ее за обтекаемые металлические бока, перенес на край стола. Сел в кресло и придвинулся. Серебристо-серый корпус заиндевело мерцал в свете настольной лампы. Я ввернул под валик чистый лист бумаги, прищелкнул, симметрично раздвинул резиновые держалки. Прогулялся пальцами по темно-зеленым пуговкам клавиатуры.

Я откинулся на спинку кресла. Расстегнул джинсы и вытащил наружу член. Он был горячий. Он стоял так, что головка по краю отливала зеркальным глянцем. В руке он гудел. Внутри него взрывались микроразряды. Морщась от усилия, я загнал его обратно и застегнул на «молнию». Сдвинул рычажок каретки и принялся выстукивать.

Вокруг все было неподвижно. В движении был только я. Вместе с моей машинкой.

Незаметно наступило утро. Я спустился в столовую, выпил чаю за две копейки и набрал бесплатного хлеба. По пути обратно, к машинке, я заглянул на почту. Неделю назад я известил своего богатого родственника-балетмейстера о поступлении в МГУ и еще не похоронил надежду, что в ответ на телеграмму мне придет перевод. Вместо перевода (который так и не придет) мне выбросили авиаписьмо от Дины Державиной. Я поднялся к себе. Сел к машинке, откусил хлеба и распечатал конверт.

«Гор. Подпольск,
Коммунистическая, 3, кв. 5
3.8.196-

Дорогой Алеша, здравствуй.

Во первых строках моего письма сообщаю тебе, что мое паде-

ние на дно благополучно продолжается. Не только в твой МГУ, но в свой заштатный университетик провалилась на первом же экзамене. Был бы в этом паршивом городе хоть один небо-скреб, равный вашему, я бы сейчас, точно, не устояла б от соб-лазна, несмотря на ту воспитательную работу, которую ты со мной провел в одну незабываемую ночь, когда нам помешал Ярик. Как он, кстати? Большой ему привет.

Вот сижу сейчас одна в квартире, и что мне в этой жизни де-лать — ума не приложу. Хорошо хоть предки на Кавказе и ни-чего пока не знают. А вернутся ведь — со свету сживут. Дело в том, что на брата они давным-давно рукой махнули: в семье, мол, не без уroda! Братец у меня, мало того, что прол — шпана, по которой милиция плачет, оттого что посадить не может. Предок как-никак шишка, ты ж понимаешь. Были б сейчас баб-ки, прилетела б к тебе в Москву. Но не только в Москву — сухого бутылку взять себе не могу! Эта сволочь, братец мой, выманил у меня вчера 50 рэ, до аванса, говорит, а не дашь — предкам те-леграмму отобью о твоём провале. Зачем я дала, вот идиотка! Ну и отбил бы, я бы уже с тобой была. А так он бабки взял — и с концами. Запил, подонок, не иначе. Пропащий тип.

Теперь и я тоже. У них на меня, понимаешь, все надежды бы-ли, что поступлю, что человеком стану и т.п. Что я виновата, что оправдать не смогла? Попробуй оправдай, когда повсюду один блат! Если уж там им хотелось видеть меня студенткой, могли бы, скажи, как все нормальные предки со связями, и ме-ня устроить по блату. Но мой предок, он только требует, а по-мочь ничем в критической ситуации не может. Потому что не хочет. Он, ко всему прочему, еще и принципиальный. Предста-вляешь, Алеша, он действительно во всю эту чушь, которой нам мозги пудрят, верит, как пионер. Что живем мы в лучшем из ми-ров, где молодым везде у нас дорога и с каждым годом радост-нее жить. Генерал, а парит в облаках. Полностью оторвался от реальности. И абсолютно непробиваем. Жена, говорит, Стали-на, и то поступала в вуз на общих основаниях. Так это когда бы-ло! Сейчас, говорю, из нашего круга иначе, чем по блату, нель-зя. А он как гаркнет: нигилистка! Только и можете, что крити-ковать! Ничего святого и т.п. Я, говорит, из-за тебя честь мун-дира позорить не стану. Не поступила в МГУ, поступишь в этот. А не поступишь — изволь, к станку.

Хоть в петлю, Алеша. Ну а что еще, скажи, остается? Вто-

рой день сижу тут взаперти, к телефону не подхожу, накачиваюсь кофе, смолю одну за одной а ничего конструктивного надумать не могу. Полная передо мной пустота. Не на завод же, в самом деле, идти. Есть же на свете страны, где можно просто взять и записаться в университет, безо всяких экзаменов, без блата и протекций! Ну, почему все у нас так? Хотя вот «Комсомолка» сегодняшняя извещает, что в Японии в этом смысле даже еще хуже: непоступившие там кончают с собой, можно сказать, в массовом порядке. Оно, может, и лучше. Естественный все же отбор. Не знаю решусь ли я сделать себе харакири, но если это произойдет, я хочу, чтобы вы знали, милый друг: с этой сволочной земли бедная Лиза унесла в лучший мир ваш ангельский образ.

P.S. Пришли мне свою фотографию, очень прошу». Д.

*

Наличности было 79 коп. Но не это главное. Главное — сделать выбор. Я его сделал.

Все прочее приложилось. На Белорусском вокзале я подошел к одинокому японцу. Старик озарился, услышав английскую речь. Via USSR он следовал в Германию. Через час, сгибаясь под тяжестью его чемоданов, я поднялся, и вновь нелегально, в уже знакомый снаружи экспресс.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: ЭЛЬЗА

На рассвете следующего дня экспресс «Ост-Вест» подходил к Подпольску, где на перроне меня уже поджидал наряд линейной милиции, вызванный по радиотелефону.

Я сидел в тамбуре. На отогнутом сиденьи. Напротив стояли проводники международного вагона. Оба только что доказали профессиональное владение приемами самбо. Победительно отдуваясь, теперь они прихлебывали чай. Он был горячий. В стаканках, вставленных в подстаканники, позвякивали ложечки. Пили они стоя.

— Ну и «заяц» пошел! За спиной у иноподданных прячутся.

— Фарцовщик, наверно.

— «Я, — говорит, — сопровождающий». Знаем мы таких сопровождающих! Ты, может, этот, как их, *диссидент*? Молчит. Молчи-молчи. Через семь минут тебя разговорят. Прими стакан, Степан.

Степан принял. Теперь он стоял с двумя горячими стаканами. И смотрел на меня сверху вниз.

— Недолго музыка играла, а? Недолго фраер танцевал. То-то. Теперь будешь знать.

Его напарник с грохотом открыл дверь. Дохнуло воздухом. В проеме плыла, и достаточно быстро, индустриальная окраина. Вдохнув и выдохнув со зверским рыком наслаждения, проводник оттолкнулся обратно в тамбур. И взялся за висящую на боку кожаную сумку, куда был вставлен сигнальный флажок. Обеими руками. Чтобы вынуть. Но не успел. Потому что в этот момент я сказал себе: «Go!»

Степан держал стаканы. Я вскочил. Сиденье хлопнуло о стену. С разворота бортанул сигнальщика и выпрыгнул в Подпольск, слыша в полете бессильный рев Степана.

Меня ударило плечом и потащило, вращая, пачкая, хлеща бурьяном. Потом оставило в покое. Я поднялся на колени и схватил себя за плечо. Цельнометаллическая стена состава надо мной мелькала гербом государства. Черный от копоти бурьян был полон мусора, и это амортизировало падение, но еще бы пару метров и зарезала бы меня, как агнца, вон та куча битых винно-водочных бутылок. Безжалостно, как агнца на алтаре. Так бы и истек на этих мягких отложениях восточно-западной помойки. Кровью! Под мертвыми глазами западной цивилизации, этими вот надломленными крышечками от датских, нидерландских, германских пив. Меня согнуло и стало выворачивать. При этом я упирался ладонями оземь. Вот уже сутки, кроме каких-то японских поливитаминов, проглоченных из вежливости, я ничего не ел. Рвало меня скудно и паскудно. Желчью. Потом я утерся и поднялся на ноги. Линейная милиция, с ней шутки плохи. Массируя себе плечо, я побежал. В сторону обратную той, где меня поджидали.

По обе стороны многоколейных путей тянулись заборы, а над ними закопченные крыши цехов. Кругом были одни заводы, но было почему-то тихо. То ли ночная смена кончилась, то ли ут-

решения не началась: ни души. Рельсы передо мной слабо трогало розовым. На фоне безмятежного неба, предвещавшего замечательный день в чужом городе, чернел виадук. Я бежал. Потом, крутой насыпью, где ноги рабочих выбили в земле примитивную лестницу, поднялся на виадук. Переводя дыхание, взялся за железные перила. Отсюда виден был вокзал. Со стороны путей погони не было. Но они могли выслать «коляску» в обход. Мои глаза описали кривую по сплошной, до горизонта, урбанистической пустыне. Направо, с виадука, эстакада широкой улицы, по обе стороны которой лежали заводские территории, отлого уходила вдаль, сводя в точку две пары трамвайных путей. Улица пока была пустынной. Я побежал по ней вниз. Держался я края тротуара, чтобы при появлении милиции скатиться по откосу вниз, к заводскому забору, в котором проломана масса лазеек. Уж там, в лабиринте среди цехов, я от них уйду. Раз, в отрочестве, они меня поймали. Били сапогами и об невский лед. Подбрасывали и давали упасть. Грозили в проруби утопить. Но я выжил. Потому что бежал. Всегда.

Ошибся я только насчет транспортных средств: на охоту за «зайцем» из международного экспресса они выслали целый «воронок», с которым я благополучно разминулся, увозимый трамваем к центру чужого города. Увидев «воронок» из окна, я засмеялся. Потом лег щекой на свои руки, возложенные на поручень пустого сиденья.

*

Еще не было и семи утра, когда я вышел на улицу Коммунистическую. Дина Державина жила в помпезном сталинском бастиионе. С башенками, статуями и прочими извращениями эпохи «архитектурных излишеств». Бастион стоял плечом к плечу с себе подобными домами; все это вместе представляло целый укрепленный район. Арки были наглухо перекрыты копыеносными железными воротами. С улицы ворота были заперты. Чтобы отразить лобовую атаку восставших трудящихся масс. Я, разумеется, биться о железо не стал. Свернул в боковой проулок, куда выходили ворота с приоткрытой в них дверью. Переступил железный порог.

Двор был огромен. Тяжелая листва разросшихся лип. Я нашел подъезд, взлетел на третий этаж, на «генеральский», и надавил

кнопку звонка, называемого «мелодичным». На языке у меня вертелась фраза, которую в этой жизни я не произнесу: «Давай поженимся!»

— Дину можно? — спросил я, когда открылась дверь. На пороге стоял парень, очень на нее похожий. В одних плавках. По-старше, повыше и намного шире меня в плечах. Кожа лица у него была иссечена светлыми шрамами сомнительного происхождения: то ли его пытали лезвием безопасной бритвы, то ли он насиловал жертву, которая сопротивлялась при помощи ногтей. Он явно был с похмелья: с трудом держал меня в фокусе.

— Сеструху тебе, что ль?

— Она еще спит? Ну, я тогда попозже...

— Э! Нажми на тормоза. Во-первых, вот что... Курево есть?

Я нащупал пачку в нагрудном кармане рубашки. Достал. Сигареты при катапультировании сплющило. Он размял одну в крепких пальцах, глядя на меня со снисходительным сочувствием:

— Фингал откуда?

Я поднес ему спичку, прикурил, осторожно потрогал свою левую бровь, несколько вспухшую.

— Небольшой инцидент. До свадьбы заживет.

— Уж не с сеструхой ли?

— Может быть.

— Ей давно пора. Только смотри, друг: та еще супружница у тебя будет. Она мне тут такое устроила! Люминалу, понял, нажралась.

— Дина?

— Ну. Да жива она, не бледней. Прихожу, значит. Как раз аван получил. А она уже, понял, лежит. В роли спящей красавицы. А я сам поддатый. На бровях, можно сказать. Но ничего, реакция не подвела. Сразу «скорую» и на промывание. Очухалась. А если бы не я, то все, хана. Спала бы вечным сном. Она ж, ты понял, университеты свои завалила. И без того психованная была, а тут!..

— В какой она больнице?

— В Сочах она, а не в больнице. Я мамаше телеграмму отбил. Первым же рейсом она за ней. И увезла на Кавказ. В санаторий грязями лечить. У меня теперь, как гора с плеч. Мне этого еще не хватало, за сеструхой следить! Ладно, по первому разу у нее фальстарт. А по второму? Пускай лучше предки за нее

отвечают. Родили? Так и тащите свою ношу. Верно говорю?

— Ты думаешь, она, — спросил я, — способна... по-второму?

— А кто их знает, этих в институты рвущихся? У меня вон в классе был один, так он повесился, понял. Еврейчик один. Тихоня, круглый отличник. А не приняли в университет — р-раз и удавился. Не понимаю я таких. И чего они все в интеллигенты лезут? Я на заводе и без институтов больше инженера имею. Фирменные?

Я не понял.

— Техасы на тебе.

— Да, американские.

— Будь другом, дай примерять.

Я переступил через порог Динкиной квартиры и снял джинсы. Ее брат в них втиснулся по пояс, застегнулся, хлопнул себя по ягодицам, скрылся в комнате и закричал оттуда: «Даешь Сайгон, а? Как, Людка, нормально?» Эта Людка, блондинистая девица с запухшим с перепоя лицом, из постели, а я издали, из прихожей, смотрели, как Динкин брат в экстазе провел перед зеркалом бой со своим отражением, после каждого апперкота на выходе выкрикивая:

«Шестнадцать тонн!

Смертельный груз!

А мы

летим

бомбить Союз!..» —

так вдохновили сына советского генерала мои «левисы». После чего он выбежал ко мне:

— Твоя цена, друг?

Молча я смотрел на свои джинсы.

— Сотню хочешь? — Я молчал. — Бери всю получку! — Он сбегал и вернулся с белыми парусиновыми штанами, вытащил из них ком денег. — Тут двести минус выпивка, идет? Это хорошие деньги, слушай, я за них месяц пахал, как Стаханов... бери! Со штанами вместе. А? Ну, ты сам посмотри, как они на мне сидят! Как для меня отлили! Все равно они тебе немножко велики были, а? Друг? Рубаху тебе еще дам? Батину, с погонами? А то у тебя сзади порвато. Ну, чего молчишь? Может, тебе кадра

глянулась? — Он прикрыл дверь, за которой находилась «кадра», и перешел на шепот: — По пьяни я запилил ее слегка, так что, понимаешь... Но если хочешь — она отсосет. Это я мигом устрою! А? Впридачу?

— Ладно, — сдался я. Набрал воздуха, задержал дыхание и влез в его парусиновые.

— Ты согласен? — Вне себя от счастья он хлопнул меня по плечу. — Друг! Век не забуду! Это же моя *мечта*, ты понял? В тринадцать лет я у одного хмыря на Балатоне джины увидел — с тех пор о них мечтал! С самой Венгрии! Сейчас, — открыл он дверь, — поясню ей что к чему... Идем.

— Стой! — сказал я. — Не надо.

Он оторопел. — То есть как «не надо»? Да ты не бойсь, они у меня дрессированные. Я им чуть что, так по печени. Проблем не будет.

— Не в этом дело, — сказал я, — и двести рублей это слишком много. Сотню я у тебя, пожалуй, возьму. Но не больше. Держи!

Брат Динки опомнился только, когда я втолкнул в карман своих бывших джинсов лишние деньги. Он вскричал:

— Друг, скажи мне, кого убить?! Адрес дай!

— Это ты мне дай.

— Какой?

— Санатория, в котором Дина.

Он дал.

— Письмо ей хочешь написать?

— Зачем? — сказал я, застегивая адрес в нагрудный карман защитной генеральской рубахи. — Сам полечу.

— Санаторий закрытый, смотри, — предупредил он. — Так просто не прорвешься.

— Там видно будет.

— Молоток! — хлопнул он меня по плечу. — Может, и взаимно породнимся? Она слегка с приветом, но в общем-то стоящий кадр. Так что давай, действуй. Эй, обожди, а обмыть?!

Но я уже зигзагами слетал вниз.

*

В ожидании последнего рейса на Кавказ я лежал в траве у самой кромки аэродромного бетона. Солнце ушло, и потом зажглись огоньки на взлетных полосах. То и дело в закатное небо,

где дотлевали перистые облака, срывались самолеты, закладывавшая мне уши и наполняя отчаянием бессилия.

Весь день! Весь этот день я провел у билетных касс. Билетов не было. Из Подпольска на юг они, похоже, были распроданы до конца лета. Вопреки этой очевидности я боролся за право на выезд. Бросался об стену. Ноги были оттоптаны, внутренности отбиты, но стену я не пробил. Отброшенный сюда, в траву, я уже забыл, зачем я рвался и к кому. Из чистого упрямства я поднялся, докурив, и вернулся в аэропорт. У них на каждый рейс есть «броня» — защищенный танковой броней резерв билетов для людей системы. Из этой «брони» иногда выбрасывают и для обычных пассажиров. В последний момент, которого, напрягшись, ожидала целая толпа.

И билет «выбросили». Один.

Достался он парню со значком «Мастер спорта» на лацкане. Отшвырнул он меня бесцеремонно, как в рэгби. Что ж. Право сильного. Человек человеку в этой стране «друг, товарищ и брат», как о том постановили в Кремле, но и я ведь, юный волк, помогая плечом и локтем, обходил в прорыве к кассе тех, кто послабее. Естественный отбор. Все правильно, все справедливо. После рэгбиста, взлетевшего в ночь, мой черед, ибо отныне я тут самый сильный — и пора, ей-Богу, отбросить все эти питерские, интеллигентские, гуманоидные комплексы!

Самая надежная позиция в этой стране — позиция силы. Такая она мне досталась, страна. Прошу учесть на Страшном Суде.

Табун неудачников разбрелся по зданию аэропорта, а я вышел, сел в такси и приказал отвезти себя в гостиницу. Ночь; пора и о ночлеге позаботиться. Сил набрать для завтрашних атак.

Таксист уточнил:

— В какую гостиницу?

— В лучшую, — уверенно сказал я.

Мест в лучшей гостинице не было. В средней тоже. Мест вообще в советских гостиницах нет, и Подпольск исключением тут не был. Я спросил:

— Ну, а что же мне делать? Я и так уже сутки не спал.

— Можно в лесу, земля теплая, — посоветовал таксист. — А то, еще лучше, вдову себе найдите пока не поздно.

— Вдову?

— Или там разведенку. Заодно и переночуете.

— А лес от города далеко?

— Как сказать... За червончик сведу. Устраивает вас?

Такими темпами и до Юга я не доберусь просто потому, что денег не хватит на билет. А еще жить. И обратный брать — в Москву. Я расплатился и вылез на тротуар «главной улицы» Подпольска — проспекта Ленина.

Был двенадцатый час: магазины уже закрыты, в рестораны не впускают, в кинотеатрах идет последний сеанс. Не все еще замерло. Еще горят вывески, еще есть известное оживление по обе стороны широкого проспекта. Троллейбусы еще ходят. Я выпил два стакана газировки, благо автоматы с водой работают круглосуточно, и местные алкаши, похитив из ниш автоматов все стаканы, один все же оставили. Надбитый. Заправил потуже чужую рубашку в чужие белые штаны. Закурил — и отправился вниз по тротуару, оценивая взглядывая на одиночек. Они были редки, надо сказать; в этот час все, что есть стоящего, уже нашло себе пару. Те встречные девушки, которые охотно или без отказа отвечали на мой взгляд, меня не устраивали. Они были сверстницы — школьницы, абитуриентки, студентки, — а мне было не до приключений, которые оканчиваются на рассвете где-нибудь в подъезде, в парке на скамейке или на заднем сиденье запаркованного на ночь троллейбуса. У меня веки слипались. Я хотел спать. И, следуя совету опытного человека, искал женщину постарше. Я прошел весь проспект, до конца, километров пять, должно быть, — дальше в звездную ночь широко уходило московское шоссе, и до Москвы было, как о том извещал дорожный знак, 744 километра. Я передохнул, сидя в пыльной траве у знака и подумывая: не голоснуть ли? Вернуться в МГУ, запереться в законной комнате, вкатить лист в «Колибри»... Я поднялся, разогнулся и побрел прочь от Москвы.

Я почти уже снова вернулся в центр, когда вдруг, резко затормозив, рядом со мной остановился милицейский «воронок», распахивая дверцы. Не успел я опомниться, как был скручен и обхлопан сверху вниз, по самые щиколотки.

— Где твой нож, а? Выбросил?

— Не было у меня никакого ножа! — закричал я возмущенно.
— Пустите меня!

— Ах, не было, щенок! — Милиционер замахнулся.

— Погодь, Василек! — крикнул начальник. — Опять дров наломаешь... — Спустился из «воронка», подошел. — Ножа нет?

— Никак нет, — ответил Василек.

— А что у него есть?

Поскольку второй как заломил мне руки назад, так и держал, Василек рванул на мне клапан нагрудного кармана так, что отлетела пуговка, и железными пальцами выхватил паспорт. Передал начальнику.

— Ленинградец? Пусти его, Рылов.

— Был, — ответил я, разминаясь. — Теперь москвич.

Начальник долистал до штампа с последней по времени пропиской в общежитии МГУ и убедился.

— То-то я слышу акцент не наш. К нам какими судьбами?

— К другу приехал.

— Адрес друга не забыли?

— А если забыл?

— В отделении вспомнишь.

— Но на каком основании? — возмутился я. — Паспорт ведь в порядке, а ваш Подпольск, кажется, открытый город?

— Вот я тебе сейчас покажу «открытый»! — надвинулся было Василек, и я поспешил сдаться:

— Коммунистическая улица адрес друга. Ничего себе: «человек проходит, как хозяин необъятной родины своей»...

— Коммунистическая, говорите? — Начальник вернул мне паспорт и выразительно посмотрел на подчиненных. — Есть у нас такая улица... Вы свободны, молодой человек, гуляйте. Вот видишь, Василек, а ты сразу в морду. А человек в гости на Коммунистическую приехал.

— А если на не Коммунистическую, то что, можно и в морду?

Все трое резко обернулись от «воронка».

— Некоммунистических, — сказал начальник, — в нашем городе нет. Гуляйте, товарищ москвич, спокойно.

— Пуговицу оторвали ни с того ни с сего. С мясом!

— За пуговку извиняйте. Несдержанность подчиненный проявил.

Мимо проходила шумная толпа девушек, и чей-то насмешливый голос бросил мне:

— Идем с нами, молодой-красивый! Тоже мне, нашел себе компанию.

— Тоже верно, — сказал я, повернулся и пошел за девушками.

— Чего они к тебе пристали, парень? — спросила одна.

— Обознались.

— И сразу бить, да? — Другая сплонула презрительно. — «Моя милиция меня бережет».

— Мусора, одно слово. Никто им давать не хочет, вот они и носятся, как бешеные.

— А я знаю одну, с ОТК, так она замуж за мусора выходит. За офицера, правда.

Они меня обогнали, продолжая разговор, а со мной поравнялась другая девушка.

— А вы кто? — спросил я.

— Дневная смена, — ответила она устало. — Видел на площади, кубик такой, стеклянный? Наш завод.

— Я думал, заводы только на окраинах.

— Которые грязные, те да. А у нас чистое производство.

— Что же вы производите?

— Военная тайна, — она засмеялась. В свете фонаря я взглянул на нее повнимательней: курносость; завиток платиновых волос над крутым лбом. Кого-то она мне напомнила... Волосы у нее были чудо, но прическа испортила их безнадежно. Девушка машинально поправила свой шестимесячный перманент, придававший ей нечто овечьё, и не без кокетства сказала:

— Но вам я ее открою. Вы ведь не шпион?

— Шпион, — кивнул я.

— Делаем мы ЭВМ, вот чего.

— И это тайна? Кого она интересует, если в этой области мы на двадцать лет позади Америки, — проявил я компетентность.

— А вдруг вы китайский шпион?

Я насмешил ее, оттянув на себе уголки век.

— У нас из всего делают тайну, — вздохнула она отсмеявшись. — Нет, а правда, кто вы?

— Вас это интересует?

— Очень!

— Шпион.

— На чьей же службе, можно узнать?

— На службе реальности, — сказал я. — У нас из нее, как вы правильно сказали, делают тайну. Ну а я пытаюсь ее разгадать. Я охотник за тайнами.

— Это называется «пудрить мозги», — констатировала девушка.

— Писатель я.

— Писатель? И много уже написали?

— Ничего, — сказал я. — Но работы передо мной край непочатый. Никто, кроме вас, не знает еще, что я писатель. И еще долго не узнает. Я скрываюсь в данное время под маской студента. А вы?

— Что я?

— Под какой маской?

— А у меня никакой, — сказала она. — Одно лицо.

Тут мы дошли до широкого перекрестка, и несколько девушек свернули направо, закричав: «Идем с нами в общежитие, молодой-красивый в белых штанах! Опять, Эльза, кавалера отбиваешь? Не ходи с ней, кавалер: у нее муж ревнивый!»

Мы сошли на проезжую часть, пересекли две пары тускло блестящих трамвайных рельсов и приподнялись на «островок спасения». Три-четыре девушки, будучи более деликатными, чем крикуньи из общежития, взошли на другой край, держа дистанцию. Я уточнил:

— ...Эльза?

— А что, нельзя?

— Почему же, Эльза, очень даже можно. Сказать, какая на вас маска? Усталой после смены девушки. А на самом деле вы Мерлин Монро.

— Кто?

— Вы, Эльза, смотрели «В джазе только девушки»? Нет? Впрочем, это старый фильм. Вы очень похожи на актрису, которая в этом фильме играла главную роль.

Женщина польщенно промолчала. Она повернула голову в сторону, откуда должен был прийти трамвай. Далеко было видно по улице, освещенной газовыми фонарями. Признаков трамвая не было.

— Все у нас не как у людей, — вздохнула она. — Работаем в центре, а живем на окраине.

— А бывает наоборот?

— Нет, — усмехнулась она. — Наоборот не бывает. Кто в центре живет, тот там и работает. Вы тоже, небось, в центре живете?

— А я вообще не из этого города. Я проездом.

— Да?

— Да. Завтра отсюда улечу.

— Жаль.

— Почему же?

— Так, не знаю... А вы где постоянно прописаны?

— Я прописан в СССР.

Она засмеялась. — А я, — сказала мне в тон, — в деревне Слепянка.

— Тоже неплохо. Это далеко?

— А как кончится город, так она и будет, Слепянка. Впритык. На «тройке» не очень, а пешком, пешком да.

— А у вас в этой деревне большая изба?

— А что?

— Если большая, то я вас с мужем не стесню. Могу и в сенях переночевать, если уж на то пошло. Как-то тоскливо ночью сна-ружи.

— Охота внутрь?

— Охота, — признался я.

— Видишь ли... Тебя как зовут?

— Алеша меня зовут. Вон трамвай идет.

— Вижу. Только номера не вижу. Тут разные ведь ходят.

— «Тройка», — разглядел я.

— Наш, значит. Видишь ли, Алеша, во-первых, в избе той нам с ним только угол принадлежит. Снимаем мы. А во-вторых, он у меня сегодня в ночную. Так что...

— А в-третьих?

— В-третьих, хозяйка у нас, как ее собака.

— Злая?

— Да не злая, а так — пустобрех. Ничего и не было, а так тебя распишет — не отмоешься.

Мы молча смотрели на подходящую «тройку». С лязгом трамвай затормозил, озарив нас на миг ореолом искр. Дверцы разжались. Эльза решительно тряхнула кудряшками:

— Ладно! поехали.

На ней был трикотажный свитерок, бледно-сиреневый, и юбка в обтяжку. Каблучки салатových «лодочек», сношенных до железной основы, лязгнули, взбираясь по ступенькам. Ноги у нее были коротковаты, но и Мерлин Монро, если вспомнить, длинноногостью не отличалась. Она оглянулась поднявшись:

— Чего ж ты?..

Но у меня ноги словно приросли к этому «островку спасения». Мне было страшно. Не хотел я на окраину. Там меня зарежут хулиганы. Меня, можно сказать, аристократа... И стыдно мне было — с такой. В следующее мгновение я вспрыгнул внутрь с

такой решимостью, что расшиб себе колено — вдобавок ко всем травмам этого бесконечного дня.

Свет в трамвае был потушен, и, озаряемые слепяще-мертвенными уличными фонарями, мы с Эльзой, сидя на заднем сиденье, скользили во тьму окраины. Чем дальше, тем, казалось, глуше ночь. На остановках трамвай уже не останавливался, проскакивал, спеша куда-то. Мы не соприкасались, между нами была пропасть в сантиметр. Одной рукой я сжимал потный металлический поручень, другую держал на колене — на ушибленном своем, и был неподвижен, а вся моя правая половина чутко пульсировала на краю этой пропасти. Погодя, с непонятым вздохом Эльза отвалилась в угол, торсом, отчего я чуть не задохнулся: будто живой, край ее юбки прикоснулся к грубой парусине моих штанов. За окном слева проскользило что-то сюрреалистичное: из-за копьевидной решетки, за которой тучно белела листва, ко мне протянул руку белый Ленин. Он был похож на мельника, извалявшегося в муке. Я поднял глаза. На здании с темными окнами была надпись: «Гипсовый завод имени Ленина». Стало быть, мы уже въехали в рабочий район. Мы проехали еще немного после этого жуткого завода и резко затормозили. Дверцы раскрылись наружу.

— Трамвай дальше не идет, — объявила водительша.

— А еще один будет? — спросили девушки, выходя спереди.

— Не будет, последняя я.

Я повернулся к Эльзе. Она спала, держа в сцепленных между коленей руках сумочку из кожзаменителя.

— Эльза, — позвал я.

— А?..

— Мы приехали.

— Куда это?

— Не знаю.

Как во сне, она спустилась наружу и пошла, шаркая «лодочками». Трамвай ушел налево, в парк, светившийся огнями на горизонте, а мы пошли вперед, на дамбу, по обе стороны которой темнели провалы. Оттуда, снизу, веяло сырой свежестью. Впереди, за дамбой, призрачно белели семиэтажные дома спящего микрорайона.

Проснувшись на ходу, Эльза засмеялась. Ей приснилось, что, сидя за конвейером на своем «чистом производстве», она уронила паяльник, раскаленный, но вместо того, чтобы расставить но-

ги и дать ему упасть, она его поймала, зажав между коленей.

— И, представляешь, совсем не больно! Скажи, странно?

— Так то во сне, — рассудил я. — Сны и должны быть странными.

— Точно, — сказала Эльза. — Если бы во сне было, как в жизни, то лично я бы удавилась от скуки.

— Разве тебе скучно жить?

— А тебе нет?

— Мне нет. Жизнь, — сказал я, — странней любого сна, по моему. Вот я, например. Иду с тобой, и все мне странно. Там вот, — показал я направо, — что на горизонте? Не стадо ли оживших мамонтов?

— Элеватор там. Хлебозавод.

— Поэтому так хлебом пахнет? — потянул я носом.

— Нет, — понюхала и она, — это не то с гипсового, не то с маргаринового тянет. Но это еще ничего, сейчас гарью начнет вонять. С завода автоматических линий. Есть тебе, наверное, охота, вот и пахнет хлебом. Погоди, сейчас придем.

— Куда?

— Там увидишь.

Некоторое время мы поднимались главной улицей микрорайона, мимо домов, темно глядящих глухими фасадами друг на друга. Потом Эльза свернула в проезд направо, и нас объяла темнота двора. Вслед за ней я поднялся на крыльцо, перехватил ручку двери и вошел в вонючий подъезд.

— Капуста в подвалах гниет. Жильцы в подвалах своих ее держат. Квашеную. И картошку. Осторожно, ступенька.

На лестнице было темно. Эльза остановилась на площадке первого этажа, и я налетел на нее, а налетевши — как-то само собой получилось — обнял.

— Ты с этим погоди, — сказала она, расщелкивая сумочку и звеня ключами.

Вслепую она открыла дверь квартиры, и вслед за ней я переступил порог.

— Вот ты и внутри, — сказала она, включая свет.

— Что? Да, — усмехнулся я. — Спасибо. Но это как-то непохоже на деревню. Городская квартира.

— А ты что думал? Что я такого, как ты, в деревню поведу? Вот тут ванная. Тут это... туалет. Если надо.

Она включила свет на кухне и со стоном повалилась на стул.

— Цивилизация, да? Мне бы такую квартирку! Ничего больше в этой жизни не хочу.

— А эта чья?

— Эта? Одних тут... долго объяснять. В общем, оставили мне ключи. Присматривать, чтоб не обокрали. Цветы поливать. А сами на юге отдыхают. Богатые люди.

На столе лежала половина засохшего батона и неумело вскрытая консервная банка.

— Ничего, — утешил я Эльзу, — будет и у тебя такая.

— Откуда?

— Государство даст.

— К пенсии, может, и даст. Только взамен всю жизнь сначала отберет. А тогда мне зачем? Внуков нянчить? Нет, мне б мою жилплощадь *сейчас*. Сейчас бы дали, я б в рассрочку ее хоть по гроб жизни с моим бы удовольствием отработывала, — так нет... мыкайся по углам. Алеша? — Я оторвался от виноватого созерцания ее рук, небольших таких крепких девичьих рук со следами ожогов, с облупившимся маникюром на ногтях и золотым обручальным кольцом на положенном пальце... — Чего скучаешь, давай поиграемся!

Я почувствовал, что краснею.

— Во что?

Она насмешливо сказала:

— В папу с мамой. В чего ты с девчонками играл, когда был маленький.

— Я не играл.

— Оно и видно, — как бы с сожалением бросила она. — Нет, серьезно, давай поиграем, как будто все это наше. Квартира, и все тут. Твое и мое.

— А мы кто?

— Как кто? Не любовники ж. Муж с женой, все по закону.

— Давай. Только ты, — сказал я, — кольцо сними.

— Не все ли равно? — Она сняла кольцо. — Золотое, между прочим. — Положила на стол. — Некоторые придают этому значение, я нет. У нас из КБ один женатик глаз положил на одну стерву из ОТК. Незамужняя она. Уж так он ее обхаживал. А сам кольцо носит. Ладно, та ему говорит, дам разок. Но если ты меня вот этим кольцом, значит... Понимаешь? Ну, чтоб с пальца переснял он его на причинное место. Этим она, значит, отомс-

тить жене того хотела, что та мужняя жена, а она так. Есть же такие стервы.

— А тот?

— Надел.

Я взглянул на ее кольцо, оценивая диаметр. — Не может быть.

— Было ж.

— Как же он ухитрился?

— Откуда я знаю? Инженер он, — с некоторым пренебрежением пояснила Эльза. — Как-то протасил. В спокойном состоянии, я думаю. Ну а потом возбудился. Обратного не снять. Та уже в «неотложку» звонит, а ей отвечают: «Слесаря вызывайте. Из Бюро добрых услуг». Спасли его, короче, но позор и кольцо пропало.

— А жена его бросила?

— Почему? Живут.

— Абсурд, — сказал я. — Все эти наши браки одно вранье и бессмыслица.

— Что вранье, то да, а насчет бессмыслицы... Жить-то надо. Попробуй на одну зарплату выжить. На две и то... еле-еле.

Передо мной вдруг открылась такая беспросветная и гнусная перспектива, что вместо обычной тревоги, сквозившей в душу из неизвестности будущего, я почувствовал тошноту.

— И вообще вся эта «взрослая» жизнь, — обобщил я, — говно. Ненавижу все это. И играть в нее с тобой не буду.

— Как хочешь, — сказала Эльза. — Только ты не выражайся, тебе не идет. И так кругом один мат-перемат. Хоть одну ночь давай по-человечески поговорим. Есть хочешь?

Я не ответил. Она была из «взрослого» мира. Тоже.

— Холодильник тут выключен, но у меня в сумке булочка есть. С изюмом?.. Ну как знаешь. — Она сбросила «лодочки», поднялась на ноги и прогнулась, подпирая поясницу. — Лично я под душ и спать. Тебе в спальне постелить или в салоне?

— Один хуй.

Рассмеявшись, она слегка толкнула меня пальцами в лоб и ушла в ванную. Несмотря на припадок пессимизма, уши мои чутко дрогнули на приглушенный дверью шум снимаемой юбки, свитера, лифчика и трусов. Я извлек из нагрудного кармана пачку сигарет «Подпольск» и закурил под веселый звук душа. Город был паршивый, но сигареты здесь лучше московских, не говоря уже о ленинградских. Хотя с моего места коридорчик не про-

смастривался, она выбежала из ванной с возгласом: «Только не ослепни!» И стала напевать что-то в глубине квартиры. Я докурил третью по счету сигарету, погасил ее неторопливо в консервной банке, которую она тут в одиночестве вскрывала ножом, рискуя порезаться, расстегнул и стащил рубашку, свалил на стул штаны. Пошел в ванную. Под потолком, на леске, растянутой тут в несколько рядов, висели только что выстиранные трусы салатного цвета, и это значит, что в постель легла она беспрепятственно голой. Меня пробрал озноб. Я забрался в ванну и, дрожа на корточках, поспешил обрушить на себя воду погорячей. Из гигиены я не стал вытираться чужим полотенцем, решил обсохнуть, а заодно и побриться. Я вытряхнул из чужой бритвы ржавое лезвие и вставил новое, вынув его из облатки. Не тупое ленинградское, как можно было ожидать, а страшно дефицитное шведское лезвие «Матадор». Лосьона после бритья не употребляю. Да и нет их, лосьонов. Не «Огуречным» же. Холодной водой. Как можно холодней. Все это время у меня не то, что стоял — рвался ретиво прочь, но во время бритья несколько образумился, сбавил подъем и напор, и подобрался. Резонный, как стреляный солдат перед атакой. В таком состоянии я смог вправить его в плавки.

Я курил на кухне, когда из соседней комнаты, где ворочалась и вздыхала Эльза, раздался стук в стену. «Сейчас», — ответил я. Пошел и остановился на пороге комнаты, в которой было темно, только щель зашторенного окна серебристо мерцала от уличного фонаря. «Чего стоишь? Темноты, что ли, боишься?» — спросила она из постели. Это была двуспальная кровать, огромная, почти на всю комнату. Я перешагнул порог и лег рядом с Эльзой. «Чего ты на одеяло лег? Ложись под». «Жарко...» «А сам зубами лязгает! Давай, накрывайся». «Подожди, — сказал я, — свет на кухне забыл». Удалившись на мгновение из ситуации, я спросил себя: «Неужели? Неужели вот сейчас и произойдет э т о ! » Все это как бы не со мной происходило, а с кем-то, от меня отслоившимся, с двойником. Пытаясь унять дрожь, которая и под одеялом не прошла, я сказал: «Я думал, ты уже спишь». «Как-то, знаешь ли, расхотелось, — ответила она с соседней подушки. — Весь день говоришь себе, только бы до кровати дорваться. Одно желание: спать, спать, спать. А дорвешься, и не уснуть никак. Аж плакать хочется». «Это от переутомления. Сделать тебе массаж?» Она повернулась ко мне: «Чего?»

«Массаж, — повторил я. — Как в спорте, знаешь?» Расхохотавшись, она упала лицом в подушку. Плечи ее обидно тряслись. «Ничего смешного, — сказал я. И положил ей на спину ладони. — Усталость как рукой снимет. Вот увидишь. Расслабься», — поколотил я ее ребром ладони. Я взялся за ее мышцы с таким альтруизмом, словно партнера по секции классической борьбы отбивал, разминал, растирал и поглаживал, и даже на какое-то время опять совпал со своим дрожащим двойником. Но когда я откинул одеяло дальше, я не смог убедить себя, что под ладонями у меня всего-навсего ягодичные мышцы. Я сглотнул и сказал: «У тебя, Эльза, замечательная кожа, знаешь». Огибая ягодичцы, прохладные и матовые наощупь, мои руки скользили гладко и отлого к ее пояснице. «Кожа как кожа», — глухо отозвалось сверху. «Такая нежная. Такая упругая». «Говоришь много». «На то, Эльза, и язык». «А с женщиной не языком работать надо!» — и с этими словами с внезапно резкой, как бы дельфиньей силой тело ее гибко развернулось, и стиснуло меня ногами. Властно. Сердце у меня бухнуло сильно — и пропало. Мой бездыханный двойник некоей туманностью навис над белеющим телом. Сдвинув колени и опираясь на локти, он слепо тыкался чем положено куда должно, но ничего, кроме терпимой рези от волос, не испытывал, толкался, но не попадал, и в этом было нечто настолько глупое, телячье-щенячье, что туманность над женщиной наполнилась виной и стыдом. «Не нахожу», — выдавил он отчаянно, чувствуя, что еще немного и слезы брызнут из глаз. «Ищи, — отозвалось под ним. — Я с тобой не в прятки играю. Или помочь?» Но он перехватил в запястье ее снявшуюся было с простыни руку. Он все еще был снаружи, осторожно толкаясь. Терра инкогнита. Он ее зондировал. Наконец ему почудилось под волосами, которые только все затемняли и путали, некую податливость, впадинку, ямку. Он послал женщине мысленный вопрос. Она ответила насмешливым молчанием. Он надавил, нерешительно, и его обняло теплой лепестковой вялостью. И снова остановило. Он толкнулся сильнее, и чуть не вскрикнул от ликующего торжества, раскрывая женщину изнутри, влажную, обжигающе-жаркую, живую, до упора. Он победительно скосил глаза на лицо под ним, вытащился настолько, чтобы не потеряться снова, и толчком одним заполнил ее опять.. «Хорошо, — ответила на это она. — В этом духе и действуй». После чего он с возрастающей уверенностью стал опустошать и

заполнять ее для взаимного наслаждения. «Можешь еще сильнее». Раз так, он принялся вколачиваться изо всех спортивных сил, и она стала вскрикивать, одновременно пожимая его предплечье в знак того, что не от боли это, а наоборот. Чтобы не так пронзительно вскрикивать, она укусила подушку. Она очень чутко при этом следила за ним, так что когда он остановился и — на самом краю оргазма — попятился из нее, чтобы кончить по методу коитус интеруптус, прочитанному в книге, допустим, на живот, она вцепилась в его ягодицы и выйти не дала. Тогда — а, была не была! — он в три толчка восстановил ритм и пыл, и кончил. Внутри. И растаял.

Отвалившись на спину, я лежал неудовлетворенный еще, но абсолютно счастливый, а она ласкала мою голову.

«Славный ты парень, — сказала она. — Я у тебя первая, что ль?»

Я кивнул.

«А даже не скажешь: так у тебя здорово получается. Если б ты не запнулся вначале, никогда б не подумала. Ну ничего. Лиха беда начало. Дальше, как по маслу у тебя пойдет. Ты завтра улетаешь?»

«Должен».

«Может, останешься? Жаль, квартира пропадает. Мой-то сюда не ходит, робеет. В первый день только и был, телевизор мне принес. Чтобы не скучно мне тут было. А потом мы с ним в эту неделю сменами разминулись, я в день, он в ночь. Не помешает. А?»

«Не могу я».

«Сегодня я не в форме, а завтра б как на крыльях прилетела. Полежишь, считаешь. А я водочки куплю, приготовлю чего-нибудь. Отужинаем как люди, а там уж я тебя помучаю до третьих петухов... ну, чего молчишь?»

«Хорошо, — уступил я. — На день».

Она порывисто подмяла меня, сказала: «А хоть на всю оставшуюся жизнь!» и стала целовать, быстро, часто. Я поймал ее откачнувшуюся голову и, глядя снизу, сказал:

«Больше не делай перманент, ладно? Просто обидно с такими волосами».

«Не буду». Бедрами она стиснула неотъемлемый мой член.

«Отпусти их и подвей, но слегка. Будешь неотразима. Как кинозвезда».

«Ну, не томи ты меня!» — рассердилась она.

«Устанешь, и завтра норму не дашь».

«Еще разок, а? давай? Чтобы лучше спалось? Или я тебе не нравлюсь?»

Я засмеялся и одним рывком уложил ее на лопатки.

Давно уже я не спал так крепко и сладко. Проснулся я к полудню, поперек двуспальной кровати, весь в испарине. Эльзы не было. Изнанка шторы так и сочилась уличным солнцем. Приглушенный грохот транспорта наполнял спальню вибрацией. Над изголовьем чужой кровати, в которую занесла меня судьба, висел ковер с репродукцией картины русского художника-почвенника Шишкина «Утро в лесу». Излюбленный нашей ковровоткацкой промышленностью сюжет: семейство медведей среди сосен, вывороченных с корнем. Наутро после урагана. С минуту, лежа на спине, я созерцал ковер, потом отбросил простыню, принял душ, смазал кремом «Нежность» стертые свои локти, оделся, прочитал и сжег на всякий случай записку, оставленную мне на кухне вместе с ключами. Запер квартиру и поехал в центр, в железнодорожное агентство. Там была не очередь, а толпа, с которой безуспешно пытались справиться три милиционера. Еще вчера я не решился бы сговориться с девушкой, стоявшей третьей от кассы, чтобы она взяла мне без очереди билет до Сочи, но сегодня, в качестве новоявленного м у ж ч и н ы , я был дерзок, предприимчив и убедителен. Девушка денег не взяла, но шепотом предложила стать рядом. Когда сзади закричали, оспаривая мое право, я повернулся и сказал: «Я — брат». «Он брат», — подтвердила девушка. «Знаем мы таких братьев», — сказала очередь, но тем не менее призывать милиционера для проверки родства не стала, да он бы и не пробился к кассе. Через пятнадцать минут я вырвался из давки на залитый солнцем проспект Ленина. С билетом на завтрашний скорый. До Сочи. Что я там забыл, в этой «черноморской жемчужине», об этом я старался не вспоминать. Образ Дины как-то подернулся дымкой, и я упустил конечную цель из виду. Но как говорил идейный враг Ленина: «Цель ничто, движение — все». И я разделил враждебную установку. Главное, движение, процесс!

При свете жаркого солнца и, главное, с билетом в руках мое отношение к городу Подпольску изменилось. Конечно, богатые жилые дворцы центра в стиле сталинского ампира, и все это

окольцовано бедными окраинными «хрущобами», в свою очередь омываемыми темной волной еще более нищего жилья, бараков, черных деревенок. Но все это, наносное, не отнимало уже в моих глазах естественных достоинств города — он был холмист, он был зелен, над ним плыли задумчивые облака, и люди здесь были мягче, замедленней, свободней, и девушки были здесь — по сравнению с Москвой и Ленинградом — поразительно красивы, и вся эта отрадная душе провинциальная неиспорченность и наивность как-то размывала остроту социальных антагонизмов. Кроткий был город. Я его полюбил. Я в нем женщину познал.

Вечером, по просьбе Эльзы, действительно прилетевшей с работы, как ангел и с битком набитой продуктами сеткой, я бездействовал в гостиной. Здесь было старинное кресло-качалка, и я покачивался, почитывая книгу из хозяйской библиотеки. Книга рассказывала о том, как славный КГБ борется и побеждает ЦРУ, называлась по-библейски «Тайное становится явным» и была бесконечно далека от хлопот и сует моей Эльзы, которая тем временем сервировала праздничный стол на двоих — и не на кухне, а здесь же, в «салоне». Когда она входила, я отрывался от очередного подвига наследников Дзержинского и устремлял свой взгляд на нее, неотразимую, но четко ограничившую пока что свое возбуждение столом. Перед работой она побывала в парикмахерской, где не только развила свой перманент, но еще и сделала маникюр с педикюром, покрасив ногти, и на пальцах ног тоже, алым лаком. Придя с работы, она сбросила «лодочки» и переделалась в чужой махровый халатик, в белый, туго затянув поясик. Поймав мой взгляд, она посылала мне из нимба платиновых волос кроваво-красную улыбку женщины-вампа, краткую, но многообещающую. После очередной такой улыбки книга соскользнула с моих колен на пол, но Эльза увернулась от меня, совершенно уже обалдевшего:

«Будет еще время...»

— А почему ты носишь крест, Алеша? — спросила она после того, как мы выпили по первой «за знакомство». — Ты разве не комсомолец?

— Комсомолец, как же, — кивнул я. — Как советский человек, комсомолец, но как русский — христианин. Нет, я после первой не закусываю.

— По рождению?

— Угу. Я ведь крещеный.

— Но ты ведь не веришь во все это?

— Ну, почему, отчасти верю, — пробормотал я, выпивая вторую рюмку, которая прояснила мое отношение к вопросу... — А вообще-то нет. Не верю я.

— Ну да?

— Да, — кивнул я, чувствуя себя легко и бесшабашно, и весело — чисто по-русски.

— А крест носишь.

— Просто на память. О бабушке. Сувенир. Вернее, талисман. Вот как летчики иногда носят. Батя мой, к примеру, тоже носил.

— Он что, летчик был?

— Еще какой! Ас. Посмертно героем стал. СССР.

— Разбился?

— Ага. Не помог ему крест.

— Мой папа тоже погиб, — сказала Эльза, разливая. — Тоже военным был. Только с другой стороны воевал.

— То есть? — не понял я.

— С германской.

— Он что, немец был?

Она виновато потупилась:

— Немец...

— Вот почему ты такая красивая! У тебя же идеальная арийская внешность.

Недоверчивый взгляд серо-голубых глаз.

— Красота есть красота, — поспешно сказал я. — Ничего плохого нет, если ты красива по-германски. Красота мир спасет. Достоевский говорил. Давай, за тебя.

Прежде чем выпить, Эльза уточнила, кто говорил.

— Моя, — сказала она, — мир не спасет. Я из-за этой красоты едва сама не погибла. Столько хлебнула горя, что не приведи Господь кому. Не родись красивой, а родись счастливой — это, по-моему, более в соответствии сказано. А ты серьезно находишь меня красивой? У меня же нос.

— Он тебя только украшает! Он, если хочешь, совершенно преображает тебя. Будь у тебя прямой нос, твоя красота была бы слишком холодна. А так ты больше, чем красива. Ты миловидна. Мила! Твоя германская красота одушевлена русской курносостью.

— Твоя правда, нос у меня от мамы, — сказала она так, что я

не стал спрашивать, что с мамой, «немецкой подстилкой», по клейму тех озверелых лет, случилось. Она подняла голову. — Ну и феномен ты, Леша! Молоко на губах не обсохло, а выступаешь прямо как... не знаю. Прямо по-книжному выдаешь. И вправду, может, писателем станешь, кто тебя знает. Молодой да ранний. Давай теперь за тебя. — Мы выпили за то, чтобы из меня получился писатель, и Эльза, подпершись ладонью, сказала: — И откуда ты на мою голову свалился?

Зная о своей избранности, я скромно промолчал.

— Ты закусывай давай, не то захмелеешь, мой мальчик. Селедочку вот бери. Я ее по-еврейски приготовила. «Под одеялом».

— Вкусная, — сказал я. — Откуда ты по-еврейски умеешь?

— А меня евреи воспитали. Подобрали, можно сказать, на помойке и выходили. Хорошие люди. Жаль, уехали.

— Куда?

— За границу куда-то. Не в самую ли Америку. Мир-то, он по ту сторону велик.

— По эту тоже не мал.

— Не мал, — согласилась она. — Но деваться в нем некуда. Куда ни сунься, одно и то же.

— А любовь? — возразил я.

— Где она, любовь-то?..

— Перед тобой, — сказал я, собственноручно разливая водку. Чувствовал при этом я себя персонификацией Любви. — Нет, скажешь?

— Ангел ты мой залетный. Ну давай за нее. Только по последней, да?

Под столом ее босые ноги наступили на носки моих полукед, которые я тут же сбросил, подставляя ее ласкам наготу своих ступней. Мы выпили, глядя друг другу в глаза, после чего, бросив все, как было, удалились в спальню.

С рассветом над нами опять возник ковер «Утро после бури». Корабельные сосны, развороченные ночью, корни наружу, косматые медведи, самка и самец с выводком детишек, выползшие на солнце после катаклизма. Заштампованный прикроватный образ, но в известной мощи — медвежей — отказать ему нельзя. Насмотревшись на этих медведей, я тронул Эльзу: «Ты не спишь?» «Не, — сонно ответила она. — Давай, не стесняйся.

Мне не мешает, наоборот, качивает...» Я раздумчиво поглаживал ее ягодицу, прижатую к моему паху. Кривую ее бедра, круто и плавно съезжающую к талии. Я был в ней; отстранившись, я созерцал ее спину, свой впалый мускулистый живот, склеившиеся колечки своих волос в паху и время от времени приводил в движение мускулы, чтобы сохранить эрекцию. Но дело было не в этом. После оргазма я как-то задумался на общие темы. «Не в этом дело, — сказал я. — Эльза?» «У?» «Я тут за спиной у тебя знаешь к какому выводу пришел?» «Ну?» «Что нам бы пожениться не мешало». Она развернулась с уже знакомой мне гибкой силой так, что вылетев, член мой шлепнул меня по животу. «С ума сошел, что ли?!» — сна как не бывало. Испуганные глаза в подтеках туши. Волосы ее спутанно сваливались набок. Я погладил ее по щеке, там где был у нее пушок. Кожа лица наощупь была обмякше нежной. «Нет, не сошел», — сказал я. Она двинула ко мне колено. «Ложись-ка...» Я устроился у нее между ног, и она своими пальцами с темными от лака ногтями разогнула мой член и вставила обратно. Так, без аффектации. Привычно. Я лежал, подпершись кулаком, и левой рукой поглаживал слившиеся волосы на наших упершихся друг в друга лобках. Ее были светлые, мои темные. Это было красиво. И у нас были очень красивые лбки. Широкие и надежные в любви. «А как же Михаил?» «Муж, что ли?» Я стал накручивать на палец наши волосы. «Он самый». Я усмехнулся недобро. «Нет, — возразила Эльза, — он не плохой. Малопьющий. И руки, как говорится, золотые. Телевизор вон ими собрал». «Михаила, — сказал я, — бросишь. Пусть по себе найдет. Бабу домовитую». «Ну, брошу... Но я же старуха. 23 мне! Шесть лет разницы у нас». «Пять». «Зачем я тебе, такому, сдалась? Ну, кто я, сам посуди? Я ведь такое знавала, с самого детства... А кем я только не перебивала до «чистого» производства! И полы мыла, и улицы мела. Я даже армию отслужила. Да. Вольнонаемной. А ты, ты студент. Вся жизнь перед тобой. Ты уж не сердись, Алеша, но я знаю, о чем говорю. *Нет*. Давай лучше делом займемся, а то времячко зря уходит». Она боднула меня бедрами, но я остался безучастным. «Да», — упрямо сказал я. «Господи, ну зачем?!» «Затем, что в тебе есть небо». «Че-е-его?» «Небо», — повторил я. «Ты, верно, перетрудился, Алеша. Мелешь невесть чего. Не хочешь меня, так поспим давай немного». «Я хочу, — сказал я, — но я и на всю оставшуюся жизнь хочу».

Сотрясая комнату, за окном прошел первый утренний трамвай. Она откинулась на подушку и, раскрыв выбритые для меня подмышки, подложила ладони под голову. «Поздно уже».

«Можно сказать и рано».

«Я, мой мальчик, не об этом. Беременная я».

Моя ладонь продолжала, как ни в чем не бывало, ласкать ее грудь, но восстановить разом упавшую эрекцию я не мог. С другой стороны, живот у нее был нормальный. Впалый.

«Еще ничего не видно, — сказала она, — но уже третий месяц пошел».

«Ты врешь!»

«Говорю, как есть. По-твоему, почему я давала кончать в себя?»

«Почему?»

«Поэтому. — И добавила: — *Мальчик*».

Оскорбленно я выдернул обманутый свой член и отвалился на соседний матрас. Эльза сказала:

«Обиделся. Тебе бы радоваться, а не дуться. Когда ты еще встретишь такую. Чтобы кончать внутри без риска влезть в хомут».

«От кого ты беременна?»

«От Святого Духа, от кого».

«Аборт сделаешь».

«У меня их уже столько было! еще один, и все, конец»

«В каком смысле?»

«Родить не смогу».

«Родить... Как будто в жизни это главное!»

«Для кого как, а для меня да. Не понимаешь ты, Алеша. Позади меня такая пустота, что удавиться легче, чем жить. Ну, кто я? А рожу, так хоть матерью кому-то стану».

«Позади меня тоже пустота. Но отцом я становиться не собираюсь. От тоски размножаться дальше? Нет уж. Я со своей тоской как-нибудь в одиночку проживу».

«Тебе легче. Вам, мужчинам, вообще легче. Легкий вы народ в отличие от нас, баб».

«Ты не баба».

«Баба, мой мальчик. Б а б а».

«Ладно, — признал я. — Die ewige Weibe. Раз уж ты так настаиваешь».

«Это ж по-каковски?»

«Вечная женственность» значит. На языке твоего отца».

«Вот я и говорю, — вздохнула Эльза. — Образованный ты уж больно...»

Перед тем как уйти навсегда из моей жизни, она вспомнила, что забыла полить цветы. Провалившись целый день взаперти «под медведями», я спохватился, что скоро на вокзал, а цветы так и не политы. Они стояли в гостиной, их было много. Хозяева, видимо, были неплохие люди. Во всяком случае, им хватало провинциальной непрагматичности на то, чтобы ухаживать за этой комнатной — абсолютно бесполезной — формой жизни. Под большие горшки были подставлены супные тарелки, под маленькие — блюдечки. У моей бабушки тоже были цветы. Она кормила голубей и воробьев. До войны у нее даже был кот, но после того, как во время блокады этого кота съела соседка, бабушка своих кошек не заводила, только чужих подкармливала, вынося на лестницу блюдечки с молоком. Вспоминая обо всем об этом, я старательно поливал сухую землю в горшках из носика темно-зеленого эмалированного чайника, когда в дверь постучали. По рассеянности я открыл. На пороге стоял мрачного вида увалень. В руке он держал сложенную детскую коляску. Новенькую.

— Михаил, — буркнул он. — А ее, что ль, нет?

Не надо было открывать!..

— Кого?

— Моей, ну. Эльзы.

— Эльзы? Так она же в день работает?

Увалень смутился, выразив это тем, что перевалился из стороны в сторону.

— В день, — признал он мою правоту.

— Вы что же, забыли?

— Да не! Не... Я тут вот в «хозяйственном» вашем три часа отстоял. Так, думал, воды попить у вас. Вдруг, думаю, приехали? Коляски в «хозяйственном» выбросили. Дай, думаю, возьму. Впрок.

Я вынес ему стакан воды из-под крана. Помутневшие в духоте очереди глаза будущего папаша с каждым глотком прояснились, но эта ясность нехорошего была свойства. Он на глазах делался подозрительным. Ручища у него были здоровенные. Металлическая пыль несмываемо въелась в поры кожи, а на запястье был

след от недавно выжженной наковки, еще разборчивой: «Нет в жизни счастья». В пору юности им, видимо, тоже овладевали приступы мировой тоски. Он вернул мне стакан.

— Вы им, собственно, кто?

— Я?.. — Я поставил стакан на подвешенную тут в прихожей полочку под небольшим трехстворчатым зеркалом. — Родня я им. Из Москвы.

— Ясно... И давно, значит, приехали? — Глубоко всаженные глазки так и буравили меня.

— Только что, — сказал я. — Несколько часов. Самолетом прилетел.

— Ее, значит, застали?

— Эльзу? Застал. Она как раз на работу уходила.

Он бросил взгляд в приоткрытую дверь спальни, которую я заслонял собственным телом.

— Так... А то хозяйка говорит, моя вторые сутки дома не показывается. Дай, думаю, загляну, не здесь ли она. Так что, значит, я телевизор наш с ней могу забрать? Раз вы тут теперь.

— Конечно, — сказал я. — А как вы его возьмете?

— А вот в коляску. — Муж Эльзы на весу расщелкнул детскую коляску, которая в готовом к употреблению виде стала мне еще более отвратительной.

— Я вам помогу?

— Да я сам. — Он выдернул из розетки провод и взял телевизор в охапку. — Много ли делов. — Погрузил в коляску, скрипнувшую рессорами. Любовно огладил полированную крышку. — Между прочим, этими вот руками собрал. Да! Втрое дешевле купленного обошелся. А так ведь не отличишь, а?

— Вид вполне магазинный, — объективно оценил я.

— Я лично телевизор люблю посмотреть, — заявил он, польщенный. — С работы придешь, борща тарелку — и смотришь. Душа отдыхает. Есть очень хорошие программы, знаете? «Вокруг света» или там, особенно люблю, «В мире животных». У вас-то, я смотрю, нет еще телевизора.

— Нет.

— Зря вы это. Надо смотреть. Чтобы, значит, это — в курсе быть, чем живет страна.

Взял в охапку коляску и вышел на лестницу. Оглянулся:

— Да! Если она после работы забежит, вы ей, значит, пере-

дайте: Михаилу отгул дали. Чтоб не задерживалась, домой шла. Ладно? А то не дело это.

Я закрыл дверь. Вошел в спальню. Медведи, с которыми я как-то уже сроднился, нависали над растерзанным ложем моей советской любви. Я упал лицом в душные простыни и оторвался только тогда, когда затрещал будильник. Подержал под холодной водой опухшее от слез лицо, утерся, захлопнул дверь, лязгнувшую английским замком, и поехал медленным трамваем на вокзал.

ГЛАВА ПЯТАЯ: КРУИЗ НА «АДОЛЬФЕ ГИТЛЕРЕ»

Сутки я провалился на верхней полке, в открытое окно созерцая свою страну. Чем южнее, тем жирней была копоть. Наволочка пролежанной подушки с обеих сторон была черной. Отъезжая от Харькова я получил удар, который вывел меня из состояния меланхолии. Прямо в глаз. В незаживший! Только и успел я по локоть выставить руку, чтобы ответно помахать стайке остающихся чумазных мальчиков, как видение мое сверкнуло молнией. Ветвистой. Слепше я схватил то, чем меня ударили, и уткнулся в подушку. Соседи снизу ничего не увидели, и плакал я бесшумно, но с припадочной страстью. Страшно было больно. Ну, за что?! И почему *меня*? Лежал и убивался над избирательным коварством бытия, словно бы своей главной задачей поставившего излечить меня от всего хорошего, что во мне есть, чтобы слить с угрюмой, настороженной, закрытой массой соотечественников. Они это называют зрелостью. Не хочу! Хочу жить вечно юным!

А ударили меня кукурузным початком. Обглоданным, но еще незрелым. Я выбросил его в окно, спустился и вышел в тамбур, где, среди себе подобных, томился моряк с бутылкой вина в руке.

— Откуда фонарь? — спросил он с интересом.

Я объяснил.

— Это да. Пацаном был, сам развлекался. Хорошо, не камнем хоть. На, глотни. А я с побывки еду, понял. За нарушителя границы получил.

— За нарушителя?

— Ну. — Он глотнул из горлышка. — Командира к ордену представили, а нам по недельному отпуску. На погранкатере хожу, понял. Этот гад к голландскому сухогрузу плыл, а мы ему (рассек он воздух между нами) о так наперерез! Чуть не ушел на волю, понял. Еще будешь?

— Нет, спасибо.

— Обидишь! — с угрозой сказал морячок. — О так... Еще пей, чего ты там выпил? Совсем ничего. Ладно, мне больше останется. Те, понял, ему уже трап скинули.

— Но не ушел?

— Взя-али гада. Еще чуток и бортанули бы голландца, но обошлось. В ластах плыл и в маске с трубкой. А под маской, заметь, очки. Близоруким гад оказался. Перечитал, видно. Интеллигент...

Ярик обладал стопроцентным зрением, и я на этот счет успокоился, но, разогретая водкой натошак, кровь так и пульсировала у меня в висках. Я спросил:

— ...почему?

— Что?

— Гадом ты его почему? Ему сейчас десять лет сидеть. А ты неделю отгулял благодаря ему и еще «гадом».

— А не наших взглядов! — заорал моряк. — Потому. А ты ва-ли отсюда, жалетель, а то как врежу по второму глазу! И рубаху военную сними, понял? Бля, в заблуждение ввел! — обратился он за сочувствием к перекуривающим отпускникам в майках и мятых брюках. — Я-то думал: свой, демобилизованный! А он!..

Хлопком двери я отсек этот пьяный кураж и зашагал, отворяя и захлопывая двери, по ходу поезда. В тамбуре третьего вагона я нарвался на парочку. Они предавались этому стоя; грузин отско-чил, развернувшись ко мне спиной, а она, еще незагорелая кра-шенная блондинка, как была впечатана в стену, так и осталась стоять с расставленными руками. Юг это юг. Это свобода нравов.

Слева, подступая совсем близко к окнам, тянулись изножья гор Кавказа, справа — серебрилось море. В вагон-ресторане я сел с правой стороны и заказал пиво.

— О! Еще перед Днепропетровском выпили, — ответил официант.

— А что еще не выпили?

— Разве что шампанское. Но будет теплое.

— Согласен.

Из окна казалось, что поезд повис над краем пропасти, под которым глубоко внизу сияло море. Иногда из-за края выглядывал далекий галечный берег с линией прибоя. Над горизонтом стояло солнце, и, потягивая шампанское, я шурился на сверканье предзакатной дорожки, мысленно повторяя строфы из «Евгения Онегина»:

«Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
...По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил».

Иногда я думаю, что Маяковский был прав, предлагая «сбросить Пушкина с корабля современности» за борт. С точки зрения внутренней логики системы оно бы правильно: и Пушкина, и вообще всю русскую классику. Разве не она, не тот же затверженный в школе наизусть «Евгений Онегин» вселяет в нас эту проклятую «охоту к перемене мест». А потом тебе десятку лепят. За измену «социалистической Родине». И кто виноват, я спрашиваю? Пушкин, товарищи, Пушкин...

Солнце уходило на свободу, и по эту сторону вагонного стекла меня терзала печаль. От косых заходящих лучей мне и в Питере всегда было грустно, но здесь, у моря, у территориальных вод, впору было просто выть от тоски. И не оттого, что так уж хотелось в Турцию, отнюдь нет: просто заострилось в душе чувство сиротства. Бритвенное лезвие горизонта зарезало солнце, отпуская его, кровоточащее, на запад подышать. Потом драматический этот вид стал удаляться, нас относилло все дальше от края обрыва, пронеслись крыши какого-то поселка, и море скрылось,

небо стало меркнуть, и я, Эльза, допил последний фужер «Советского» шампанского за тебя. Прощай.

*

В Сочи, столицу советских субтропиков, поезд пришел ночью. На привокзальной площади пассажиры тут же разделились на «организованных» курортников, которые распределились по присланным за ними санаторным автобусам, и на «дикарей» вроде меня.

Я прислонился к гладкой базальтовой колонне и закурил. Я был на юге. Ночь была как сажа. Сквозь нее проступали звезды. Большие и много. В свете фонарей я видел обильные клумбы с цветами. И пальмы, волосатые стволы которых торчали прямо из земли. Откуда-то тянуло сортирной хлоркой. Ко мне поднялся загорелый брюнет. Сетчатая «бобочка» обтягивала мохнатую грудь. — Москва? — Москва. — Диким способом? — Им. — Один. — Один.

— Так, — сказал он. — Могу предложить койко-место. Полтора рубля сутки, задаток вперед за неделю. Море рядом. Условия не ахти, но с пропиской возни не будет. Устроит?

— Вполне, — сказал я.

— Тогда иди вон к той бежевой «Победе». Во-о-он, за теми пальмами. А я сейчас.

Он вернулся с целой ватагой дикарей-одиночек обоего пола, погрузил нас в «Победу» и повез, инструктируя по пути, что если участковый пристанет, говорить ему, что мы родственники Махбуба Казбековича Ибрагимбекова, и тем самым закон прописки не нарушаем.

— Не поверит, — усомнилась одна славянка, на колене которой я вынужденно сидел, — уж очень вы... загорелый.

— Десять лет уже верит, — успокоил ее бизнесмен, — поверит. У нас тут милиция доверчивая, — и оглянувшись от руля, блеснул на нас оскалом золотозубой южной улыбки: — Жить-то все хотят!

И как на вокзале карболкой, потянуло душком коррупции.

Ехали мы долго. Потолок «Победы» сгибал мне голову, мякоть колена, на котором я сидел, вызвала абсолютно неуместную эрекцию, в окно, как я ни выворачивался, так ничего толком и не разглядел, кроме оттенков черноты, ясно было одно,

что море неблизко и что везут нас в гору. Я попытался бросить взгляд сквозь заднее стекло и въехал локтем в грудь славянки. «Прошу прощения», — сказал я сердито. «Ничего-ничего, молодой человек, — радушно ответила она. — В тесноте, но не в обиде. Вы поудобней располагайтесь». И подсунула под меня второе колено. Видимо, привычка ездить в туго набитом общественном транспорте стерла у нее потребность в неприкосновенности их кожных покровов.

Въехав на гору, «Победа» остановилась у обнесенного провололочной сеткой дачного участка. Махбуб-и-как-там-его-дальше запер машину в гараже, пропустил нас в калитку, которую запер изнутри, и повел вниз, крутыми каменистыми ступенями. Мы спустились глубоко, ниже террасы большого каменного дома, свернули за этим Махбубом налево. Выстроенный на крутом откосе, сзади этот дом имел чуть ли не четыре этажа. Махбуб отпер дверь; тусклая лампочка осветила длинное помещение с цементным полом. Кровати стояли тесно, как в казарме или больнице.

— Там, — показал Махбуб, — мужской отсек, здесь — для прекрасных дам. Доброй ночи! И будьте, как дома!

Отсеки были разделены ситцевой занавеской. Рядом со мной разделся, бросая на меня взгляды, — унылый тип лет тридцати, похожий на неудачника, застрявшего в средней школе на должности учителя черчения. Дам было четверо, и с кровати я созерцал на занавеске стриптиз теней, которые возбужденно переговаривались, уже познакомившись.

— Неужели вот это мясо может кого-нибудь возбуждать? — с отвращением прошептал мой сосед.

Я промолчал.

— Разве что грузинов, — ответил он сам себе. — Для того и ездят. «Мы охотней отдаемся этим усачам, чем слюнявым ленинградцам, бледным москвичам...» Вы знаете это неофициальное стихотворение поэта Евтушенко?

Я издал звук отрицания.

— Я вам завтра перепишу, — пообещал сосед. — «Мчатся беленькие сучки к черным кобелям». А? Резковато, но заслуженно.

— Я не люблю Евтушенко.

— Нет? — Он очень удивился. — Кого же вы любите из поэтов?

— Например, — сказал я, — Иосифа Бродского. «Через два года постареют юноши...» знаете?

— Нет. Я вообще такого не знаю.

— Целиком неофициальный поэт. Из Ленинграда. Это про него Ахматова написала:

«Знаю: я и вовек не заплачу.
Но вовеки не видеть бы мне
Золотую печать неудачи
На еще неокрепшем челе».

Из нашего поколения неудачников он самый-самый.

— Вы мне завтра перепишите его стихи, хорошо? До нас, в провинции, все ведь с опозданием доходит... — Молчание, и потом смущенно: — Там, на вокзале, вы так стояли у колонны... с видом как не от мира сего, и я... Словом, я вас сразу выделил. Вы ведь тоже поэт, я угадал?

— Нет-нет, — оторопел я.

— Во всяком случае, личность творческая? Со сверхзадачей? С замыслом? Вы простите, но вы же еще совсем молодой человек, а молодость это дар... Это возможность стать другим, совершенно другим. Не как все.

Я смутился.

— Это вы, должно быть, пишете, да?

— Да нет, — сказал сосед, — просто я друга ищу. Молодого. Мне 35, и я уже погиб. Я как все. Но я мог бы предостеречь.

— Вы чего шушукаетесь, мальчики? — раздался игривый голос с женской половины. — Анекдот хоть какой бы рассказали.

— Можно и неприличный, — поддержал еще более игривый голос.

— Оставьте нас в покое! — ответил сосед. — О, пошлый мир сей... Знаете, а давайте завтра утром съедем отсюда и найдем себе что-нибудь более подходящее, вскладчину? Без баб. Это главная опасность. О, если бы в свое время я был бы свободен от сексуальных предрассудков, я бы не дал им себя изнасиловать и раздавить. Я бы защитил свою хрупкую мужественность. Я бы культивировал в себе мужчину. Ведь самые мужественные из мужчин, вы знаете, женщин бегут. Это бабское в нас притягивает к бабам, заставляя подавлять противоположные импульсы. Я хочу сказать, импульсы влечения к себе подобным, — доба-

вил он так робко, что я невольно испытал жалость к этому типу. — Вам приходилось читать Платона? Ах, вы, верно, спать хотите, что же я, — всполошился он, чутко услышав мой зевок. Нервозный. — Спокойной ночи. Разбудите меня, если проснетесь первый.

— Спокойной ночи, — ответил я.

Утром, натягивая кеды, я взглянул на его руку, свесившуюся к цементному полу. На безымянном пальце женоненавистника кротко сияло золотое обручальное кольцо. Я не стал его будить. Каждый воскресает в одиночку. Высыпал на подушку полтора рубля мелочью и вышел, на цыпочках пройдя мимо женщин, разомлевших в жаркой испарине.

*

Сад, напротив, был в зябкой росе. Он был полон экзотических деревьев. Я задрал голову на шелковицу. Подобрал и съел несколько оброненных ей ягод. Круто сбегая под откос, сад уносил вниз дерева, усыпанные винными вишнями. Дом стоял под самой вершиной горы, весь склон которой был застроен дачами и покрыт садами. Крутой лестницей замшелого камня я поднялся к вершине, покинул участок и закрыл за собой калитку. Гребень горы был не широк: двум машинам уже не разминуться. Вьющейся тропинкой я поднялся еще выше. Мокрая от росы поляна обрывалась в пропасть. Я оглянулся кругом, и у меня захватило дух от восторга. Окружность горизонта была идеально четкой. Море переходило в горы, горы возвращались в море. Бесконечно далеко было видно в этот час — и во все стороны. Над снежной линией гор розово сияла вершина Эльбруса. По ту сторону пропасти курился дымком аул размером с ласточкино гнездо, на склонах тигровыми шкурами лежали чайные плантации, ниже, на дне долины, искрились окнами игрушечные домики. Спокойная лазурь еще несогретшегося моря нерезко отделялась на другом горизонте от неба. Из пропасти ко мне взлетел звук резко тормознувшей на крутом повороте машины, неожиданно приоткрыв спрятанное пространство, — и все это одновременно существовало подо мной, на уровне стершихся подошв моих кед. Я почувствовал себя центром. Абсолютным центром утренней Вселенной. «Господи! — сказал я вслух, — верую...»

Осенив себя крестным знамением, я круто сбежал вниз, на лос-

нящуюся ленту шоссе, тут же метнулся в сторону от передавленной шиной гадюки, с надеждой повернувшей ко мне голову, и, отпустив тормоза, понесся к повороту вниз как юный олимпийский бог или герой — по крайней мере. Пробегая мимо розового куста, я взмахнул рукой и сорвал бутон. Нераскрывшийся, но уже подгнивший, благоухал он сладостно и горько.

*

Высоко надо мной волновалась изнанка моря. В прозрачной ее толще висели парашюты медуз. На общем пляже от медуз к полудню остаются только клочья слизи, здесь же они были живые — с целой бахромой. Двинув ластами (взятыми напрокат под залог паспорта), я перевернулся животом вниз и поплыл под водой вдоль ржавой сетки, натянутой на бетонные столбы. Ослизлые, они уходили вглубь, где иссякали лучи солнца. Водоросли там шевелились, как первозданный хаос. Я плыл и осматривал сетку. У меня было чувство, что это меня в нее поймали. Как «Человека-амфибию». Разрывов в ней не было. Под уровнем моря она была так же непрístupна, как и над. Я выпустил гроздь пузырей и, пошевеливая ластами, взмыл вверх, чувствуя, как закладывает уши от перепада давления. Пробил поверхность и по пояс вылетел на солнце.

Волнение усиливалось. Накрывая меня с головой, длинные волны укатывались дальше — сквозь сетку — к берегу. В шуме прибоя различался грохот откатываемых камней. На берегу закрытого пляжа тел было немного.

Вдруг мне показалось, что я ее узнал — Дину Державину.

Я оторвал от лица присосавшуюся маску.

Фигурка в черном купальнике пинала волны на излете. Я вспрыгнул на сетку и закричал: «Ди-на! Ау!» Одновременно пальцами ног я сжимал резину своих ласт. Я крикнул еще раз, но это было бесполезно в этом шуме. Она? — вглядывался я сквозь сетку. Может быть. Хотя, с другой стороны, вряд ли. Вряд ли этот санаторий у Министерства обороны — единственный на побережье. Волна толкнула меня в спину, и я ободрался о сетку. Кожу засадило в интенсивном соленом растворе. Я отцепил руку — надвинул маску. Оттолкнулся от бетонной опоры и ушел под волну.

Вынырнув, я понял, что пора возвращаться. Кругом хоуноом ходил холмистый рельеф. Я видел перед собой не дальше, чем на

три-четыре волны. Я выпрыгнул, чтобы восстановить ориентацию. Погрузившись под воду, я открыл глаза. Со всех сторон непроницаемо смотрела муть. Я потуже затянул на себе ласты и поплыл к берегу. За спиной я чувствовал открытое море, и мне было жутко, как никогда в жизни. Дьявольская сила утягивала меня назад, она — я понимал — хотела меня. Я вскрикнул от боли: ногу свела судорога. Вдохнув, я ушел под воду. Скорчившись, как эмбрион, я стал царапать окаменевшую икроножную мышцу.

Вот и все, подумалось мне. Стоило признаться в любви к Богу, как Дьявол проявил интерес. Пошлой песней еще пытается уговорить, из кинофильма «Человек-амфибия», что, дескать,

лучше лежать на дне,
в синей прохладной мгле,
чем мучаться на жестокой,
проклятой суровой земле...

Нога разжалась, и я снова поплыл. К своему золотому кресту, спрятанному под вонючую подкладку спортивного кеда.

Самым трудным оказалось не доплыть, а вырваться из прибрежной болтанки. Я никак не мог оседлать волну, идущую к берегу. Отливная сбрасывала меня, унося обратно. Впереди поблескивали бинокли. Толпа пляжников смотрела, как я тону. Некоторые ели при этом эскимо за одиннадцать копеек. Придав своему лицу безразличное выражение, я отдался на волю стихии. Покорно болтаясь туда-сюда, я восстановил дыхание, а потом нырнул. Глубоко, к самому дну, где ворочались большие гладкие камни. Бешено заработав ластами, я полетел над ними, выставив руки, отталкивая булыжники поменьше, а когда дыхание перегорело, вылетел на поверхность и отдался попутной волне.

Эта волна шла к берегу долго, вынося с собой камни, зализанные осколки бутылок, солнечные очки, расчески, которые пижоны затыкают за пояс плавок, иностранные монетки, слизь медуз — и меня. Я поднялся. Никто на меня не взглянул. Толпа раступилась, пропустив меня, а потом вскричала. Я обернулся. Откатившись, волна оставила на ослепительно сияющих камнях еще одну жертву. Надутую резиновую «лягушку». «Царевну-лягушку» — со вздутием короны и огромными глазами. «Лягуш-

ка» туго опоясывала девочку лет трех. Безжизненную с виду.
Я отключился.

*

Кто-то больно бил меня по щекам, фальшиво повторяя при этом:

— Друг! друг!...

Возмутившись, я открыл глаза. Зажмурился и открыл их снова.

— Ярик? — спросил я.

— Он самый! — ответил негатив того Ярика, с которым мы вроде бы расстались совсем недавно: до белизны выгоревшие волосы, до черноты загорелое лицо. С шеи у него свисал на золотой цепочке камень с дырочкой — «куриный бог», а в руке он держал огромный морской бинокль. Потрясая им, он произнес:

— Я видел, друг! Все. Как ты боролся за жизнь. Я стал уважать тебя раньше, чем опознал.

— Девочка! — сказал я. — Мы были в одной волне. Что с ней?

Он нахмурился и отвернулся. Я сел. Там, где выбросило «Царевну-лягушку», стояла толпа полуголых зевак. Толпа прирастала. Подбегая, любопытные пляжники наваливались на плечи передним. С набережной по узкой железной лесенке спустились две санитарки. Сверху им подали свернутые брезентовые носилки. Обе были босиком; под белыми халатами просвечивали купальники. Они исчезли в кольце толпы. Вместе с носилками. Постояв, толпа двинулась через пляж, гремя камнями. Замыкала толпу загорелая старуха в газетной пилотке и с таким пузом, будто была на сносях. Она несла спущенную резиновую шкурку «Царевны-лягушки» и, не стесняясь в выражениях, объясняла загорающим, что невестка ее опять уснула на пляже, потому как по ночам ебется с грузинами, и за пацанкой не смотрит. Вот сын освободится на тот год, все она ему, старуха, расскажет, а сами они с Донбасса...

— Откачали, — сказал кто-то, укладываясь на синий лежак.

— Под суд таких родителей, — сказал другой.

— Они тут пачками тонут, — раздалось в другом месте. — Не первая, не последняя. Пачками!

От недовыясненности исхода и всеобщего абсурда у меня почернело в глазах. Я отпал на горячие камни.

— Что, друг, нехорошо? Образуется. Главное, выплыл ты. Спас себя. Теперь давай выплывать дальше.

— Куда?

— Ты что, забыл? На твердый берег, друг, — ответил Ярик, глядя в бинокль. Ожог у него на лопатках лоснился, заживая и шелушась. — Всю неделю мертвый штиль, и вдруг!.. Ты посмотри, хуячит как из пушки. Нет; чувствую, теперь разгуляется...

Меня достало солеными брызгами. Я приподнялся, опираясь на локти. Волнение усиливалось. Линия прибоя придвинулась, и вся прибрежная полоса моря вскипала белыми «барашками». Над каменным лбом волнореза то и дело взрывался на солнце сноп водяных искр.

— Быть шторму, — сказал Ярик, изучая в бинокль правую часть горизонта, — уж поверь интуиции... А вот и «Адольф» идет!

Перед нами сидел мальчик, который вот уже достаточно долго акустически раздражал меня, без видимого смысла перетирая друг о друга пару булыжников. Он обернулся и снисходительно поправил взрослого человека:

— «Отчизна» это.

— Тебя спрашивали, нет? Ну и помалкивай. Для кого «Отчизна», а для кого «Адольф Гитлер». Так он раньше назывался, понял? До победы над Германией. Трофей это. Знаешь такое слово?

— Естественно. — Мальчик стукнул булыжниками так, что высек искры. — А «Фельдмаршал Суворов»?

— Тоже трофей. А теперь отстань.

— А он как раньше назывался?

— «Великогермания». На, друг, взгляни. Это *он* нам шторм принес. «Адольф»!

Под тяжестью бинокля усталый мой бицепс задрожал, и, приложившись к окулярам, увидел я не «красу и гордость морского флота Райха», а женщину, вид которой был ужасен. Волосы, как корона из змей, огромные глаза сверкают. Она была на грани иступления. Переступала через распростершиеся под солнцем тела так, что груди выпрыгивали, удерживаемые внутри только сосками.

— Видишь? — спросил Ярик.

Я почувствовал, что помимо воли плавки на мне растягиваются от неоправданного возбуждения.

— Друг, — сказал я. — Это Медуза-Горгона!

— Вот я вам покажу «медузу»!..

Я опустил бинокль. Разгневанная женщина была прямо перед нами. Мальчик уронил свои булжники. Одним рывком она поставила его на ноги.

— Снова? — закричала она. — Снова вступаешь в разговоры с посторонними мужчинами? Урок не впрок? — Размахнулась и отвесила жестокую пощечину.

— Вы что, гражданка? — приподнялся Ярик.

— А ты молчи, бесстыдник! Навесил на себя бус! — Бросив злобный взгляд на амулет, который болтался у Ярика под ключицами, и на мои плавки, женщина дернула мальчика за руку, рискуя вывихнуть ему плечо. — Что они тебе *сулили*? Мороженое, деньги? Отвечай! — Еще пощечина. — О чем они говорили?

Всхлипывая, избитый мальчик показал на нас пальцем, и, не сговариваясь, мы поднялись, в охапку собирая свои вещи. Все кругом на нас смотрели с брезгливым подозрением. Женщина еще раз тряхнула мальчика, который завопил:

— Они фашисты!

Наступила тишина. Инцидент приобретал иное измерение. Добившись неожиданного результата, женщина сконфуженно оглянулась, после чего обратилась к жертве с ласковой укоризной:

— Что ты такое говоришь, сынуля...

— Они за Гитлера!

На нас смотрели по-прежнему нехорошо, но отныне совсем в другом смысле. К действиям, впрочем, никто не обнаруживал охоты переходить. Пока что. Полуденный зной был на нашей стороне.

— А еще они в Турцию хотят уплыть!

— Вот так и делают, — пожал плечами Ярик. — Из детей кретинов.

— А ты, — из-под защиты мамы крикнул мальчик, — *ты разрушитель границы!* И наши пограничники тебя убьют!

Я сдвинул Ярика за локоть. Не оборачиваясь, мы растворились в миллионе полуголых тел.

— «Пионерской правды» начитался, сукин сын!

Я промолчал.

— Но мы его не убоимся, — добавил Ярик. — Gott mit uns.

В своей розовой рубашке он ждал меня в сквере рядом с морским вокзалом. В одиночестве он сидел на монументальной скамье сталинской эпохи, чугунные лапы которой свежо посеребрили алюминиевой краской. Обутая в зеленую резиновую «вьетнамку» нога на ногу. Развернутый номер «Сочинской правды», на который упала веерообразная тень пальмы, скрывала лицо. Я прошел мимо и сел на скамью рядом. С краю. (Не хватало только камеры, съемочного коллектива КГБ и девушки с хлопущей).

Из-за газеты отрывисто раздалось:

— Взял?

— У-у.

— До Батуми?

На карте столица Аджарской «автономной» республики почти соприкасается с турецкой границей.

— У-у. Каюты распроданы, одна палуба осталась.

— Тем лучше.

— Иди, а то и она кончится. Там очередь.

Отстаивать ее дважды было глупо, но после события с мальчиком мы решили повысить уровень конспирации. Чтобы в случае удачи никто не вспомнил наш альянс.

— Любопытная, кстати, информация. Даже приматы начинают бежать. На, ознакомься! — отложив газету на край разделявшей нас гипсовой урны, так же посеребренной, Ярик поднялся и пошел, прямой и четкий, к зданию вокзала, помпезность которого пропадала на белоснежном фоне возвышавшегося над ним океанского лайнера «Адольф Гитлер» alias «Отчизна».

Я взял газету. Она была нечитабельна. За исключением последней страницы, где, под рубрикой «Это — интересно», и впрямь была занимательная заметочка о том, как из сухумского государственного обезьяннего питомника дал деру мандрил — «примат из подсемейства мартышковых с ярко-окрашенными седалищными мозолями». Похождения примата на воле были описаны в юмористическом духе, однако, кончалось все печально. С помощью «пионеров-юннатов» (юных, то есть, натуралистов) «и ряда других друзей питомника» «непоседливый мандрил по кличке Петя» был — и эти слова вынесли в заголовок — «ВОДРОЩЕН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА». Бедный Петя, урже-

нец Западной Африки. Одно утешение, что срок тебе не впаяли за измену родному питомнику.

Я скомкал газету и сунул в урну.

*

Остаток дня мы бродили по городу-курорту — отчасти в надежде на случайную встречу с Диной. Случайная встреча состоялась, но не с ней... — Линяем отсюда, быстрее! — вдруг шепнул мне Ярик, когда мы с ним уже отстояли час у входа в зал ресторана «Ахун-гора» и только что возглавили очередь «на посадку». Приглашал он, поэтому мне оставалось только последовать за ним, сбегавшим по лестнице. На улице, закуривая, он объяснил:

— Там моя мать.

Бесцельно мы пошли в сумерках по тротуару.

— Мог бы хоть издали показать.

— Маму-то? Она с кавалером была.

— Ну и что?

— А то, что кавалер у нее... мало-репрезентативный. Радиация, водка, папиросы, грубый секс, а главное, Сибирь... Опускается моя мама, увы! — Он вздохнул. — А у тебя была?

— Нет, — сказал я насмешливо. — Меня моя бабушка родила.

— Повезло, — машинально отозвался он... — То есть, как это — *бабушка*? Шутишь ты все.

Отсмеявшись, я поведал ему историю родившей меня женщины, которая предпочла утонуть на той же самой оккупированной нами территории, куда врзался объятый пламенем отец, — где-то между Одером и Эльбой. После того, а может быть, и вследствие, добавил я. После чего мы оба почувствовали себя еще более неприкаянными в этом городе. А до отхода лайнера было еще немало времени.

— В центральном парке кинотеатр есть, — сказал он. — на открытом воздухе. Может, сходим?

— А что там идет?

— «Фантомас против Скотланд-ярда».

— Тоскливо.

— Ну, почему... Давай? На девять сорок пять успеем.

— Вот если бы «Затмение», — сказал я. — Я бы еще раз посмотрел. Может, идет где-нибудь?

— Нет, «Затмение» в этом городе не идет. В этом городе сей-

час вся страна, а страна предпочитает де Фюнеса. И в этом я с ней совпадаю. Там будут моменты. Идем?

Территория кинотеатра была обнесена высоким забором, но деревья за ним были еще выше, и с них то и дело срывались от хохота мальчишки, смотревшие картину бесплатно. Мы сидели солидно, на скамье, по сю сторону забора, но смеялся он, как мальчик. Все смеялись, раскачиваясь рядами и обливаясь слезами и потом. Я не смеялся. В этой парной духоте я не мог избавиться от чувства нарастающей тревоги. Луч кинопроектора рассекал ночь, и светлячки, в него влетая, гасли, смешиваясь с толчеей бабочек, а экран то и дело пересекали черные молнии летучих мышей.

После сеанса ему тоже стало мрачно. В этом состоянии нас и закадрировали в по-бунински темной аллее.

— Гуляем, мальчики?

— Гуляем.

— И мы гуляем. Пошли вместе гулять?

Пара крашенных блондонок из категории, которую плейбой этой страны снисходительно именуют «среднерусскими коротконогими». Мы не были плейбоями. И мы переглянулись. И спросили:

— А куда?

— А на лежаки, «куда». Куда все...

*

Тьма перед нами с грохотом обрушивалась, после чего утробно рокотала, укатывая камни. Как будто строила и разрушала нечто, угрожая похоронить нас под руинами.

— Ой, — сказала она, оторвавшись от моего рта, — я вся уже мокрая.

Я вскочил и взялся за дощатое изголовье лежака. Вместе с ней эту тяжесть было непросто сдвинуть.

— Ты куда?

— Так... лежак отодвинуть?

Она снисходительно фыркнула. — Я не в том смысле... Ну-ка иди сюда.

Коленями я опустился на лежак, и в темноте она взяла меня за запястье. У нее были жесткие пальцы ткачихи. Они с подругой

приехали из Иваново, города, где, кроме прочего, еще и дефицит мужчин.

— Усек теперь? Ну... ну? Да не тьяни ты. Не чувствуешь разве: закрытый купальник. Отогни перемычку.

Непрерывный стон, низкий, грудной, глубокий, рвался из нее, пока я входил с чувством, что на спину сейчас мне рухнет стена камней. Подсунув под ягодичы по кулаку, она привычным движением взвела свои ноги. Она их держала на весу, отчего слегка покачивались ее ступни в туфлях на максимально высоких и острых каблуках.

— Хорошш-шо, — выдыхала она вразбивку. — Хорошш-шо...

Так это было: просто и жестко. И с ощущением угрозы, которая когтисто сводила спину под рубашкой. Но разрешиться ему было не суждено: внезапно лаковая ее туфля сверкнула, и нас зигзагами исчертил сильный свет фонаря. Одновременно зычно крикнули:

— Не положено, граждане отдыхающие!

Вдоль линии прибоя шел пограничный патруль.

— Ч-чёрт! — Перенося ногу, она полоснула меня каблуком по щеке. — Завидно вам, что ли?

— Не пререкайтесь, гражданка! Граница *священна*, а вы тут, понимаешь...

— А мы не на границе! Мы — на пляже.

— Па-прошу освободить! — взял тоном выше голос. — Пляж, он утром будет, а сейчас здесь проходит государственная граница Союза ССР.

— Ладно, Тома, — сказал я. — Пойдем.

По непрочной железной лесенке мы поднялись на эспланаду набережной и сели на скамейку под фонарем. Я поморщился садясь, и она участливо спросила:

— Болят?

— Терпимо.

— Это вредно для мужчин.

Я молчал.

— Хочешь, я тебя... — Она запнулась. — Ну, рукой?

— Это идея. — На свет появилась ее подруга. Она поднялась на парапет и прыгнула на набережную. Туфли она держала в руке. За ней появился Ярик. — Неплохая, — закончил я, — но, боюсь, невыполнимая. Спасибо.

Они подошли и сели, Ярик рядом со мной. Я поставил его в известность:

— Coitus interruptus. А у вас?

— До этого не дошло.

— Это по-каковски? — спросила моя.

— По латински, — ответил Ярик.

— В общем, — подвела итог его, — накрылся вечерок. Вот что бывает, когда веришь песням типа «Не спеши, когда глаза в глаза». Будет урок вам, ребята.

— А может, к нам пойдём? — предложила моя.

— Да? А утром нас хозяйка выгонит.

— Злая? — спросил я.

— Как сколопендра.

— А если, — сказал я, — на лоно природы?

Ярик зевнул. Девушки помолчали докуривая.

— В России, — сказала моя, отстрельнув окурочек, — там проблем бы не было. А здесь, ты ж понимаешь! Фауна не способствует. Еще укусит кто-нибудь.

— Та же сколопендра, — вставила другая. — К тому же, чувствую я, хлынет сейчас. Накрылся вечерок, и тут уж ничего, ребята, не попишешь. Пошли, Тамар.

Условившись из деликатности о следующем свидании утром, вот под этим же, ребята, фонарем, подруги канули в забвение.

— Уф-ф, наконец-то! — сказал Ярик. — Я уж не знал, как от своей отделаться. Спасибо пограничникам, а то она бы меня изнасиловала. Мало того, что примитивная: еще и наглая. А твоя?

— Тоже не интеллектуалка, но, — почувствовал я потребность оправдаться, — писатель должен быть выносливым.

— Ты так считаешь? Тогда возьми вот это... — Он сунул руку в задний карман своих белых джинсов и дал мне то, что оказалось запечатанным в фольгу английским презервативом. — Бери-бери. Советую, как сын врача.

— Оставь себе. Вдруг сирена тебя обольстит по пути.

— Не обольстит. — Повертев в руках квадратик, он опустил его в урну и поднялся. — И вообще я к ним довольно равнодушен. К женщинам.

— Неразбуженная натура?

— Может быть, — ответил он серьезно. — Дело в том, что у меня был один опыт. В тринадцать лет. Довольно тяжелый, психологически.

— С кем же это?

Мы дошли до подножия лестницы, которая, величественно белея всеми своими маршами, перилами, вазонами, поднималась в город. И тогда он ответил, что не может сказать. И добавил, почему-то по-немецки:

— Das Geheimnis.

Мы стали подниматься. В темноте одуряюще пахло цветами. Я поднял голову, и на лоб мне упала тяжелая капля. И сразу же хлынул дождь. Мы побежали, но через два марша остановились, мокрые до нитки, и захлюпали шагом. Лило так, что можно было захлебнуться. Трудно было идти. Навстречу нам по ступеням бурлила вода. Я выхватил из этого водопада сбитую магнолию. Отлепил рубашку и спрятал цветок за пазуху. Лестница кончилась наконец. Листва высоко над нами издавала незнакомые звуки — гулкие, жесткие, субтропические.

*

Он вынул ключ и открыл дверь. Над гаванью, в нижней части Сочи, он снимал терраску на сваях. С отдельным входом, к которому мы долго хлюпали под дождем сквозь лабиринт хижин.

Не зажигая света, мы разделись догола, выжали на двор одежду, разложили под раскладушкой намокшие деньги, паспорта и магнолию, которую я донес под рубашкой. Он сказал:

— Ложись на раскладушку.

— А ты?

— В лодку лягу, — ответил он, вываливая из рюкзака на пол грудку резины.

Насос всхрапывал так, что в перегородку постучали.

— Немцы, — объяснил он мне соседей. — Даже на курорте режим соблюдают.

— Из Дойче Демократише Републик?

— Из Казахстана. Те — в гостинице «Рица» живут.

С деликатной настойчивостью «наши» немцы постучали еще раз, но мы, меняясь, докачали шлюпку. Я похлопал ее по туго надутой резине. Она была прочной.

— Слушай, — сказал я, отсаживаясь голым задом на раскладушку. — А давай все это к черту переиграем, а? Совершим круиз до Батуми. На обратном пути заедем в Сухуми. Посетим этот хваленый обезьяний питомник и дачу Сталина в Пицунде. Съез-

дим в самшитовый заповедник, на Ахун-гору, и еще выше — на озеро Рицу. Вернемся по Военно-Грузинской дороге и выкрадем Динку.

— А потом?

— А потом загуляем.

— А потом?

— Вернемся в МГУ. Пять лет учебы впереди и вся оставшаяся жизнь. Мы же еще ничего не знаем, Ярик. Этой вот страны, нам доставшейся... Твой выбор, — сказал я, — кажется мне *преждевременным*. Даже в случае удачи на месте этой страны у тебя до конца жизни будет «белое пятно».

— Об этой стране я знаю всё. Я знаю предел ее падения. Что же касается пейзажей, то к ним я равнодушен. А потом: почему «до конца жизни»? Я вернусь.

— Нет, — покачал я головой. — Никогда.

— Почему ты так считаешь?

— А потому что *они*, мне кажется, правы.

— В чем же?

— В том, что коммунизм непобедим.

Он швырнул в меня чем-то, что оказалось мотком нейлонового троса. Это была штука для альпинистов. С железными защелками. — Лучшее средство от пессимизма, — сказал он. — Петлю сам сделаешь или помочь?

Я отбросил моток. От удара в стену терраска сотряслась, а вслед за этим снова постучали невидимые немцы.

— А вы заткнитесь там, капитулянты. Энтшульдигунг! И гутенахт! — Растянувшись в шлюпке, он стал высвистывать нечто воинственное. А потом и запел:

Wenn die Soldaten
durch die Stadt marschieren...

— Ток-ток-ток, — постучали в стену.

— Не дразни их, — сказал я. — Они тут не при чем.

Он перестал.

— Ты прав. Никто тут ни при чем. Особенно, геноссе из Казахстана... Выпить хочешь?

— А есть?

— Есть. — Перегнувшись за борт, он нашарил бутылку и вытащил зубами пробку. — Стаканов, правда, нет.

Я отпил и вернул бутылку.

— Хорошее вино.

— Еще бы! — ответил он из шляпки. — Крымское марочное. «Черный доктор».

— «Черный»?

— Так называется. Примем без объяснений. Примешь?

Я взял бутылку и приподнялся на локте.

— Пей-пей, — сказал он. — Хорошо, как превентивная мера. Черный Док, он нас вылечит.

— Думаешь?

— От всех болезней. — Он принял бутылку. — Не только от простуды. Верно ведь, Док? От коммунизма тоже. Только он и может — *Черный*. Или ты в чехов веришь? В социализм «с человеческим лицом»?

— Не знаю... До Октября Семнадцатого дед мой, — сказал я, — у Милюкова в партии был. В «конституционно-демократической».

— А *после*.

— А после говорили так: «Кадет — на палочку надет». Подразумевая штык.

— А ты говоришь... Нет, друг. Клин клином вышибают, а Зло — еще большим. Вселенским, в данном случае. Еще?

— Воздержусь.

— Тогда я добыю. «Черного доктора» — за «черную» реакцию!

Я лежал — руки под затылок. Дождь плотно колотил по косою крыше, просачиваясь уже не в одном месте и тенькая квадратиками стекол.

— Ты не веришь, — сказал он, — но я вернусь. Обязательно.

— В составе Waffen-SS?

Он засмеялся. — А это как удастся... Там видно будет. Может быть, и в индивидуальном порядке. Мы еще встретимся, вот увидишь. Я сяду напротив тебя в метро. На улице попрошу прикурить или «двушку» для телефона. Ты дашь мне огня, но меня не узнаешь. Меня невозможно будет узнать. Но красный цвет вокруг станет интенсивным. Он станет, как запекшаяся кровь, и вдруг — настанет день — он обернется черным. И ты поймешь, что это — я.

— Ладно! — отозвался я, отворачиваясь к стене. — Спать давай, романтик. Компас у тебя, я вижу, есть.

— Есть все, что нужно. В крайнем случае, по звездам доберусь.

— Ага, — сказал я. — По Кремлевским. До лагерей особо строгого режима...

Он залился смехом:

— В отличие от вас, милорд, я — оптимист!

*

Между правым бортом и причалом раскрывалась щель. Медленно и верно. Я стоял, сжимая поручень.

На втором этаже морского вокзала был ресторан — прямо напротив. В окна видно было, как официантки убирают столики. Со смотровой площадки отобедавшие курортники смотрели, как мы отваливаем. С осоловелым равнодушием. Один тип обломком спички чистил зубы, будто нас здесь, на палубе, уже можно было не стесняться; и женщины не гасили взлетающих юбок. Никто не махал. Только один малыш в бескозырке с надписью «Отважный» и парой оранжево-черных трепещущих ленточек.

Оторвав руку от поручня, я ответил ему.

По бетону причальной стены взмывала кайма замусоренной воды. Серые арбузные корки в разводах нефти.

Постепенно, уступами, открывался город. Потом он стал частью поднявшейся над горизонтом лесистой горной цепи. Пройдя меж двух маяков, мы вышли из гавани. Я застегнул до горла прорезиненную куртку и поднял воротник. На деньги Ярика вместе с этой курткой я купил две пары кожаных рукавиц на байке: чтобы не поранить ладони при соскальзывании за борт. (Почему на Кавказе летом торгуют рукавицами, которых зимой в России не сыскать, — это из области абсурдов того же типа, как отправка на Кубу снегоочистителей. Но этот абсурд пришелся на руку беглецу).

Женщину рядом со мной затошнило, и ее увели.

В открытом море «Отчизна» оптически утратила свою небоскребность, но спускаться все равно придется, как в пропасть. От мысли, что он останется один в этих свинцовых рытвинах внизу, мне тоже стало не по себе. Я отошел и сел в свободный шезлонг.

У перил, оставив зады, стояли туристы. Они обменивались впечатлениями по-немецки, были одеты в яркую синтетику; име-

ли самодовольный вид и фотоаппараты «Praktika». DDR: восточная — и отсталая — зона Германии, передовой, поскольку западный, рубеж социализма. У одной их женщины взлетела юбка, предоставив сидящим в шезлонгах возможность полюбоваться парой подтянутых ягодич, облитых ярко-белыми трусами. Сияя ими, немка продолжала смотреть в свой цейссовский бинокль.

Из шезлонга справа враждебно прокомментировали:

— Хладнокровие на грани бесстыдства.

Мужской голос отозвался беззлобно:

— Западные люди...

— Нет, что ни говори, а наши намного целомудренней.

«Наши» как раз ковыляли мимо, зажимая между ног подолы и смущенно хихикая.

— Ага! Навидался я этого целомудрия...

— Так-то в лагерях!

Я повернулся. Справа от меня в шезлонге лежала хрупкая, еще не старая женщина с вампирически-накрашенными губами и ледяным взглядом Ярика. «...Мать!» — подумал я. Кавалером ее оказался детина со свекольно-багровой физиономией под шляпой сталинских времен. Неужели еще где-то донашивают этот зеленый велюр? бериевско-абакумовский? По-мужски мигнув мне, детина ответил матери Ярика:

— Не в этом дело, Клара Ивановна.

— А в чем?

— В качестве дамского белья. — Детина хохотнул, показывая золотые протезы. — Как сказал Ив Монтан: «Несокрушима та нация, которая способна к воспроизведению при таком качестве, пардон, рейтузов». Ха-ха-ха!

Ее передернуло.

— Озябли, Клара Ивановна? Сейчас мы вас согреем.

Она оглянулась на меня, когда из внутреннего кармана габардинового плаща ее спутник извлек обтянутую брезентом армейскую флягу.

Рывком я поднялся и, пряча сигарету в ладони, пошел против ветра. Вокруг бассейна никого не было. Воды в этой квадратной яме, облицованной синим кафелем, не было. Морской горизонт растворялся в низком пасмурном небе. Я толкнул створку двери с оправленным в медь глазом иллюминатора и спустился внутрь.

Ярик был в баре. Я оглянулся и почувствовал себя защищенным, как Гитлер в бункере Имперской канцелярии. Дубовая обшивка стѐн была рассчитана на тысячу лет. Тоталитарный стиль, впрочем, нарушали установленные здесь плечом к плечу игральные автоматы. Американские. Типа «однорукий бандит»: бросаешь деньги и ручку на себя. Гремели все три автомата. Ярик играл с левым крайним.

Я сел на табурет и положил локоть на медную стойку.

— Что вам смешать? — спросил бармен. — Мартини? С джином, с виски, с водкой? On the rocks? А может, фирменный коктейль «Русалка»? Эффект мгновенный. Который, если угодно, — понизил он голос, — как рукой снимет зеленоглазая блондинка, изнывающая в недрах нашего плавучего отеля за одной заветной дверью. Пятьдесят пиастров — и вот вам ключик от Сезама.

Я посмотрел на ключ с зажатым в кулаке номерком, на кулак, поросший волосом и смуглый, на его бордовый сюртук и покачал головой, глядя ему в глаза.

— Просто коньяка.

Гладко причесанная голова отвесила поклон.

— Вас понял.

Ярык на бутылке, из которой он мне налил, был с надписями по-армянски. Пять «звездочек». Глоток согрел меня. Я держал круглое стекло на ладони.

— У вас тут просто Лас-Вегас.

— Плоды детанта, знаете ли. Партию с «одноруким»? Сейчас он обыграет этого блондина в белых «левисах», а вы возьмете реванш.

За его спиной было зеркало. Я пил коньяк, наблюдая за Яриком, которому упорно не везло. Расплатившись, я взял сдачу двугривенными и подошел к нему.

Втолкнув последнюю монетку, Ярик дернул ручку, и в грохоте барабана я загадал: если он проиграет, о встрече на палубе я ему не скажу. Оставлю шанс столкнуться с матерью, и, ergo, остаться на борту «Отчизны».

Ему вышло два «желудя», а потом «апельсин».

Пнув автомат, он поднял с пола свой рюкзак. Когда он вышел, бармен за моей спиной сказал:

— Самолюбивый юноша...

Я опустил рычаг. Плодово-ягодный барабан остановился, вы-

дав мне три «вишенки», после чего высыпал монет на рубль.

— Видите, я же говорил! — воскликнул бармен.

Два раза я проиграл, а потом снова выиграл рубль. Потом пошла полоса невезения. Я скармливал ему свой выигрыш. По монетке. Потом, потеряв терпение, зарядил сразу пятью. «BAR» — появилось в первом окошке. По-английски это значит «слиток», вспомнил я, и увидел еще один «BAR». *He может быть...* «BAR»!!!

Ниша автомата уже захлебнулась мелочью, но щедрости его все не было конца. Бармен принес мне плетеное лукошко.

— Не толпитесь, не толпитесь, граждане! Молодой человек интуицию потеряет. — И мне: — В этом рейсе такого еще не было. С вас «Шампань-коблер».

— Разменяйте мне это, — вернул я ему лукошко, полное мелочи. — А заодно угостите себя.

Я продолжал обыгрывать автомат. Проигрывал я ему по одной монете, а перед выигрышем, повинувшись инстинкту, заряжал его на максимум. И опускал рычаг. Время остановилось...

*

Было уже темно, когда, разминая затекшее плечо, я поднялся на палубу. Я закурил и взялся за поручень.

Мы подходили к Сухуми. Мимо прошел пограничный катер. Я смотрел на него сверху. Выставив все свои пушки, он ушел в ночной дозор. Швартовались мы в свете прожекторов. Когда я наблюдал за сходящими по трапу пассажирами, рядом со мной за поручень взялся Ярик.

— Видишь того мордоворота?

— Которого?

— В зеленой шляпе.

— Ну?

— Та, что за ним, — сказал Ярик, — моя мать.

Клара Ивановна пьяна была так, что едва сошла на причал. Глыбообразный ее кавалер еще держался.

— Приехали взглянуть на приматов. После трудов в Сибири культурно отдыхают. Сейчас доберут еще в номере, вырубят-ся, а с утра по-новой. Так она с ним и живет, соревнуясь, кто умрет раньше от цирроза печени. Что ж, держись, мама... Она меня не узнала, ты знаешь?

— Не узнала?

— Нет. Родная мать. Тем более не опознаешь меня ты. Когда я вернусь... — Он уронил за борт окурок. — Хорошо сыграл?

— Сто двадцать чистыми.

— Повезло. А у меня уже ни копыя.

— Хочешь еще поиграть?

— Я еще наиграюсь. В пространстве от Монте-Карло до Лас-Вегаса... Впрочем, дай червонец. Приму на посошок, как говорится. Чтобы по морю пройти, как посуху. Иисусом Христом.

— Осторожней только с барменом, — сказал я. — Вид у него, как у Иуды. Стукач, по-моему.

— Растешь! — пряча десятку, одобрил он мою подозрительность. — Ориентироваться начинаешь в биомассе. Еще и вправду станешь — на худой конец, членом Союза писателей. А?

— Иди-иди. Не напивайся только.

— Я к тому, что шлюпка выдержит и двоих, — сказал он. — Если вдруг надумаешь...

Он ушел, а я сел в шезлонг рядом с его багажом. Над заревом порта скупой россыпью огоньков обозначал себя Сухуми, где в свое время высадились охотники за Золотым руном — аргонаты. Столица миниатюрной Абхазии, ныне также «автономной» республики, на всю историю цивилизации была старше Москвы. Я сидел, физически ощущая невидимую отсюда столицу Империи. Гигантский электромагнит Москвы сломил возникший было порыв оторваться. Сломленный, я тяжело повис в отсыревшей парусине. Сверкнула молния, и я подумал, а пожалуй, шанс у него есть. Стать Сверхчеловеком...

По палубе забарабанил дождь.

*

Сзади могло показаться, что я просто блюю за борт, но если бы в этот момент кто-нибудь тронул меня за плечо, я бы, кажется, умер на месте. От разрыва сердца. Однако сзади никого не было. Микрооперация «Nacht und Nebel» — как в предпоследний момент, уже в лапах и в пробковом жилете, окрестил ее он, — развивалась по плану.

Трос был пристегнут к поручню. Сжимая его над мгlistым туманом, где растворился Ярик, я ощущал в ладонях соскальзывающее напряжение, и это длилось невыносимо долго, а по-

том — рывок — и словно выключили рубильник. Я даже всплеска не услышал, но трос уже был мертв. Я отстегнул его от поручня и отбросил. Вялой молнией соскользнул он во мглу. Повернувшись, я взялся уже за перила лестницы, но, к счастью, бросил взгляд на место действия. Там сиротливо мокла под дождем улика — пара ковбойских сапог.

Я заставил себя вернуться. Наклоняясь к ним, я чувствовал себя мародером. Я сбросил их за борт.

*

На обратном пути из Батуми я посетил обезьяний питомник. Нас водили группой перед клетками, набитыми приматами. Женщины конфузились, а мужчины гоготали, заставляя их смотреть. В группе был мальчик Сережа, которому мама завязала глаза шелковой косынкой, чтобы он не научился у мандрилов технике мастурбации, которой предавались они в клетках с поразительной изобретательностью и энергией, достойной, право, лучшего применения. Это было печальное зрелище.

Из Адлера я вылетел в столицу нашей родины.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: ХОРОНИМ «ОТТЕПЕЛЬ»

Первая лекция — в знаменитой Коммунистической аудитории — состоялась без меня. Посещение лекций в МГУ вообще обязательно; на этой же обещали устроить особо строгую перекличку с тем, чтобы не допустить первый курс на похороны Эренбурга.

Беспощадное солнце стояло над Москвой. В киоске «Союзпечати» на площади Восстания толпа, ожидающая вынос тела, раскупила всю коммунистическую прессу — вплоть до «L'Humanité» и «Morning Star». Не для чтения, конечно, а чтобы смастерить пилотку. Во избежание удара.

Тело должны были вынести из Дома литераторов. Но с какого выхода? С парадного — на улицу Герцена? Или с черного, на улицу Воровского? Толпа разделилась. Оптимисты, их было много больше, остались на Герцена, а пессимисты, среди которых был и я, владелец портативной пишущей машинки, хлынули к черному ходу. Заслуги автора «Оттепели» (1954) и других

подрывных произведений были таковы, что вряд ли — с точки зрения правящих язычников — его могла реабилитировать смерть.

Пессимисты, мы не ошиблись. Сначала на улицу выбежал в элегантном костюме поэт Евтушенко (которого всего месяца назад с одним другом мы видели убывающим в Париж), потом — на плечах писателей-единомышленников — на солнце выплыл гроб. Закрытый. Толпа зашуршала газетными пилотками, обнажая головы, и медленно тронулась за гробом. Движение на Садовом кольце было остановлено. Площадь Восстания, куда втекла наша похоронная река, была уже запружена народом так плотно, как и во время официальных демонстраций не бывает. Близнец моего МГУ, 22-этажная сталинская «высотка», где обитает элита, поблёскивала направленными вниз, на площадь, десятками биноклей. Все было тихо, скорбно, торжественно; вдруг пронесся слух:

— Гроб украли!

— То есть как украли? Где?

— На Баррикадной! Там у них грузовик был наготове!..

Поскольку предполагалось процессуальное пешее шествие через всю Москву вплоть до Новодевичьего кладбища, площадь Восстания, еще мгновение назад безмолвная, тысячегласно возмутилась от такого коварства властей. В этой кричащей массе, потерявшей направление, я медленно, но верно пробивался к узкой улочке Баррикадной, спускавшейся к метро «Краснопресненская», как вдруг меня с возмущенным криком: «А ты-то куда?..» развернули за плечо. На меня в упор смотрел баскетбольного роста парень в сером костюме. Короткая стрижка, красное потное лицо, и в глазах — отчаяние бешенства. Я сбросил его руку, он снова схватил меня: «Ты ведь не еврей?!» «Руки прочь!» — крикнул и я, освобождаясь рывком. Парень нагнал меня, расталкивая толпу. «Ты что, не понимаешь, что тебя, мудака, в сионистскую манифестацию втягивают? Вали отсюда, ну?!» — «Убери свои потные лапы, к-кретин!» — крикнул я и получил вдруг такой удар под ложечку, что через минуту борьбы с собой, — на исходе дурной бесконечности, — меня, вцепившегося в поручни ограждения на углу Баррикадной, все же стало выворачивать. Желчью: позавтракать я не успел. Потом меня взяли под руки, но не грубо, а бережно, отвели в старую легковшуку, дали глотнуть из термоса сладкого чая и — такое краткое

еврейское семейство с двумя рыжими дочерьми-близнятами — доставили к Новодевичьему, где я с новыми силами продолжил свою — подрывную, как выяснилось, — манифестацию.

Тут, под сверкающими куполами, у стен Новодевичьего монастыря, включающего в себя и престижное кладбище (третье по рангу после Мавзолея и Кремлевской стены), похороны превратились уже в поле битвы между силами как бы добра, желавшими во что бы то ни стало присутствовать при закрытии гроба, и силами, получившими инструкцию этого не допустить. Принцип на принцип. Я, разумеется, проник в первый ряд позитивных сил, представленных толпой интеллигентов, не только еврейских, кстати, числом человек в двести, — и крепко сжал в гневных кулаках железо заградительного барьера, выкрашенного алым лаком, уже облупившимся. Я несколько был не в себе. От удара под дых на площади Восстания меня мутило, причем не только физически. «Вы так, значит? — звучало во мне, как заевшая пластинка. — Значит, вы — *так?*...»

Команда, поданная по мегафону, только что погнала солдат с проезжей части улицы к нам. Защитного цвета мундиры, малиновые погоны с нашивками «ВВ» — Внутренние Войска. На ремнях болтались штыки в железных ножнах, из тех, что привинчивают к «Калашниковым». Но «Калашниковых» у солдат не было. Они не расстреливать нас, и не колоть штыками получили приказ, а просто оттеснить на тротуар. Для порядка. При этом они выравнивали заградбарьеры, гремя металлом о гранитный бордюр тротуара. «Мой» солдат скомандовал:

— Руки с барьера примите.

Сверстник. Мутные от жары глаза. Стриженные виски под околышем фуражки блестят от пота. Черным клеенчатым ремешком фуражка закреплена под подбородком, чтобы не слетела от удара в челюсть. Медленно свирепея от непослушания, он схватился за штык:

— Прими руки, говорю!

Помедлив, я разжал кулаки. Он схватил барьер и, расплываясь глазами по противостоящим лицам, скомандовал:

— А ну назад!

Он избегал фокусироваться на ком-то отдельно взятом, хотя бы и на мне: массу теснить легче.

— Мы бы и рады назад, молодой человек, но сами видите, не-

куда, — примирительно ответила старушка с мелко трясущейся головой в серебряных кудельках.

Солдат оглянулся на однополчан и, следуя примеру, приподнял барьер и пошел в атаку с металлом наперевес. Он напирал сопя — мы с упором поддавались. Пятились с сопротивлением. Школьная физика: действие — противодействие. Школьная физика в свете марксизма-ленинизма. Из-за спин нашего, первого ряда сопротивленцев пробовали разговорить напирającego солдата.

— Товарищ ефрейтор, а вы хоть знаете, кого хоронят?

— Откуда им знать, — отвечали другие. — Им приказано, они выполняют. Сила есть — ума не надо...

— Нет, просто интересно, им хоть имя сказали? Вы слышали о таком писателе, Илья Эренбург, товарищ ефрейтор?

Ефрейтор пер, потя и пуча оловянные глазки.

— Давай-давай, солдат, — сказали ему. — Ведь «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее»...

— Не дразните его, гражданин, не раздражайте, умоляю!

Ефрейтор не вынес этой мелочной борьбы не за «британские моря», а за полоску проезжей части шириной в полметра. Он напрягся, принял барьер на грудь и с надсадным криком: «Ах, вы так?!» грохнул металлическими ножками об асфальт. Я успел отскочить, но кто-то пожилой не успел, стал оседать со стоном, и его утянули — толпа расступилась — в тыл противостояния.

— Ступню размозжили человеку!

— Стариков калечат!

— Им волю дай, нас всех изувечат, зверье!..

Упираясь каблуками в размякший асфальт, я с трудом сдерживал напор разъяренной толпы.

Ефрейтор осознал эффективность метода. Тяжеленный, сваренный из металлических труб алый барьер приподнялся и снова ударил по нам, пробив ножками асфальт. Я поставил на гранитный бордюр один каблук, потом второй — и, пяясь, нажал в толпу спиной. Дать себя искалечить за Эренбурга показалось мне, при всем почтении, избыточным.

— И это при иностранных дипломатах! Нам, нам, за все это перед иностранцами стыдно, а вам нет? Нет?!

— А чего им стыдиться? Они в своей стране! В стране рабов, стране господ, прав Лермонтов! Вам не стыдно за свою страну, ефрейтор?

— Рабы! Псы тоталитаризма!.. У человека ботинок вон полон крови!

Ефрейтор, отвернувшись, облокотился на барьер. Между лопатками мундир его пропотел от пота, но на душе у него было, должно быть, хорошо: задание он выполнил. Линия сдерживания была восстановлена.

Началось томительное противостояние. Солнце ярко освещало пустую улицу. По ту ее сторону, в нише монастырских ворот, маленькая, но яростная толпа прорвавшихся сквозь оцепление, гремела запертыми железными воротами. Слева от ниши, в тени зубчатых стен, стояли агенты КГБ в штатском. Покуривали, чему-то посмеивались. Милиция томилась в своих «воронках» с распахнутыми от жары дверцами. Между армейскими крытыми брезентом грузовиками стояли офицеры внутренних войск. Толпу в воротах не трогали. К ней иногда подходил пожилой седовласый человек в черном костюме, с похоронной — черной же с красными каймами — нарукавной повязкой и, поднося ко рту рупор, увещевал, чтобы не так шумели. «Стыдно ведь, товарищи! Вашего коллегу хоронят, а вы?..» Я так понял, что толпа в нише состояла из недопущенных на кладбище писателей.

Линию сдерживания нашей, неписательской, но тоже весьма интеллектуальной толпы, прирастающей за счет студентов ближайших вузов, мединститута и педагогического, время от времени инспектировали представители всех трех разновидностей насилия — гэбэшного, милицейского и военного, внушая, что дожидаться уже нечего, церемония уже началась, так что всего разумней мирно разойтись по домам. Тем не менее все неразумно оставались на солнцепеке, бросая в ответ: «Осквернители праха!» Усмехаясь, чины отходили в тень стен Новодевичьего, а в толпе, по эту сторону барьеров, завязывались споры.

— Это традиция у них такая. Они ведь и с Пушкиным гроб украли, и с Лермонтовым, чего уж там какой-то еврей! Переименовали бы свою страну в «Третье Отделение»...

— А превращать похороны литераторов в антиправительственные демонстрации — это не традиция? — возражал другой голос. — Их можно понять.

— Лично я не против правительства пришел, а проводить в последний путь писателя, которого уважаю.

— Кого вы уважаете, Эренбурга? — вступал третий. — Вы

что, смеетесь? Во время войны эта сталинская шавка подстрекала со страниц газет: «Убей немца!» Тоже мне, гуманист!

— Писателем в России всегда не просто быть, гражданин, тем более еврей, тем более под Сталиным. Нужно принять во внимание.

— Ловчила он! Мастер компромисса. На сделку пошел.

— А кто не пошел, тот до XX съезда не дожил. Сейчас, знатели, вольно вам рассуждать! Все мы максималисты — задним числом. А вот попробовали бы при Сталине? Ну, и не говорите! В последние годы жизни Эренбург себя прилично вел, сердитой молодежи помогал, и вообще! *De mortuis aut bene, aut nihil.* Так что лучше бы вам помолчать.

Тем не менее дискуссия становилась все шире и ожесточенней. Говорили о повести «Оттепель» и о начавшихся с падением Хрущева заморозках, о событиях в Чехословакии, куда на дискуссию о Кафке пригласили самого Сартра, о письме Солженицына последнему съезду писателей, о «хамском» выпаде Шолохова против покойного, которого кто-то едко назвал «зеркалом советского еврейства», после чего градус ожесточения подскочил, и в этот момент какая-то женщина истошно закричала: «Снимают! Снимают!» Толпа стала оборачиваться на многоэтажный дом за сквериком, и кто замечал кинокамеру, тот сразу прятал лицо, а кто не мог разглядеть по близорукости, переспрашивал: «Кто снимает? Где? Кого?»

— КГБ, — отвечали им. — С балкона третьего этажа. Нас.

С указанного балкона на нас была направлена кинокамера на треноге. Как за пулеметом, за ней согнулись двое в штатском. Кто-то из толпы ответно стал отстреливаться фотоаппаратом, снимая снимавших, на что с балкона погрозили кулаком. «И пусть себе снимают», — добродушно сказала старушка, но компетентный голос разъяснил ей, что по тому кинофильму впоследствии займется опознанием. «Вот вас, бабуся, опознают и пенсии лишат», — сказали ей, и старушка вдруг горько заплакала, так и стоя перед кинообъективом КГБ. Мне стало не по себе. Всем стало не по себе. «Да уж не для всесоюзной телепрограммы «Время» снимают, — мрачно буркнул кто-то. — Не смотрите на них, бабуся! Отвернитесь, граждане, не геройствуйте, это равно самодоносу!..»

Я отвернулся; затылок налился свинцом. Было как-то нехорошо сознавать, что твой образ попал в кинохронику госбезо-

пасности и останется навечно в ее архивах. С другой стороны, сам факт этой съемки говорил о том, что я находился в эпицентре немаловажного события, с которого, быть может, начнется моя активная гражданская жизнь. Я окрыленно почувствовал себя гражданином своей страны. И чтобы еще ярче проявить свою гражданственность, я — неожиданно для себя самого — броском взял заградительный барьер, задев солдата каблуками, приземлился и бросился через улицу в ту, в писательскую нишу, чтобы принять участие в штурме ворот. Еще совсем недавно, в Питере, на общегородских соревнованиях школьников, я показывал весьма неплохие спринтерские результаты, но сейчас, под объективом КГБ, я ставил свой рекорд. Из-под стены ко мне бросились двое милиционеров и один штатский агент, но я их опередил, и перехватчики возвратились с пустыми руками, сплевывая и матерясь.

В нише были люди, чьи лица я знал по газетным снимкам и телевизору. Евтушенко здесь не было, Евтушенко был допущен к закапыванию Эренбурга, но, кроме Евтушенко, здесь были почти все. Меня изо всех притиснуло к поэту Слуцкому (Эренбург ему сильно помог на первых порах). Меня вминало в Слуцкого, отчего мне казалось неуместным сказать ему, что я люблю его непечатные стихи, ходившие в списках в Питере, и особенно про «я строю на уходящем из-под ног песке» и «Когда русская проза пошла в лагеря...» Я молчал, вминаемый в его жирную тушу и глядя ему в мясистое, красное и седое ухо, будто запоминал это ухо на всю жизнь. Слуцкий тоже молчал, хотя кругом кричали, не стесняясь КГБ и собственного пафоса:

— Позор! И это послé XX съезда?!

— Сталинисты!

— Немедленно откройте Русской Литературе, мерзавцы! — и сотрясали запертые на цепь ворота. — Есть у вас совесть, нет?

От этих криков за решеткой ворот агенты в черном нервозно позевывали, принужденно посмеивались и сжимали кулаки, как бы разминая застоявшуюся кровь.

— Товарищи писатели! — просил рупор. — Убедительно требуем прекратить шум. Надо уважать смерть, а вы?

— Не мы, а вы! — гремели писатели железом в ответ. — Вы устроили глумление над смертью, *в-вы!*

— Э-эх, а еще интеллигенция... — сокрушенно вздыхал в рупор седовласый сановник и удалялся в тень.

Я пробился к воротам, схватился за прутья и с изумлением услышал свой собственный срывающийся крик:

— Коммунисты вы или нет? Люди вы — или нет?!

После чего я или, вернее, мой поглупевший от гнева двойник вложил всю свою физическую силу в мятежное дело сотрясения цепей, связавших ворота. Черные поглядывали на меня, но я продолжал греметь заодно с советскими писателями, и если бы они, черные, вынули бы из подмышек свои «Макаровы», я бы счел за честь принять пулю. Никто, однако, пистолетов не обнажал. Не 37-ой все же год был на дворе. Но и не 17-ый, увы!..

Когда нас, наконец, допустили в пределы Новодевичьего кладбища, было уже поздно. Гроб опустили, яму засыпали, и — все это сознавали — момент для бунтарских речей погиб безвозвратно. Представители Государства взирали на нас, представителей Общества, с нескрываемым торжеством. В центре затоптанной, пересыпанной свежей землей травы высился холм. Он был сложен из сильно пахнущих еловых ветвей, венков, цветов. На один из венков был наколот двойной лист, вырванный из общей, студенческой тетради в клеточку, где был скопирован общеизвестный карандашный портрет покойного работы Пикассо. Кто читал мемуары Эренбурга «Люди, годы, жизнь», тот знает, как льстила покойному библейская скорбь, щедро влитая испанским художником-коммунистом в брюзгливые черты советского писателя. Скорбь эта отражала, быть может, тайную уязвленность компромиссным бытием между Парижем и Москвой, Западом и Востоком, цивилизацией и варварством.

Но поскольку на лице советского писателя, с точки зрения властей, отрицательная эмоция, копию эту тут же сорвали, разорвали в клочки, пустили на ветер. Вокруг, по толпе пошел слухок, что это был оригинал и прислал его сам Пикассо, вот, дескать, «даже Пикассо не пощадили», но кто-то оспорил, что оригинал Пикассо не стали бы накалывать на проволоку, ибо «больших денег стоит». С дощатой трибунки, обтянутой кумачом, еще довыступал кто-то официальный из Союза писателей, о ком сказали: «Сволочь!..» Потом выступала элегантная француженка по-французски. Сначала и ее, и переводчицу, совсем незлегантную, слушали с вниманием, но потом, когда из уст француженки пошел официоз о «традиционной дружбе между Францией и великим Советским Союзом», которую как бы крепил Эренбург, толпа заговорила, что посольство Франции прислало «мелкую

сошку», и на лицах стало проступать разочарование, тем что «мировая общественность» явно недооценила события. Вдруг выяснилось, что полным-полно случайных людей, громко добывающихся имени покойника. «А, Эренбург...» — говорили такие и отходили, чтобы рассмотреть иные, более именитые могилы. Кто-то взял меня за рукав, спрашивая, где находится могила Алилуевой, первой жены Сталина, «которую он собственноручно того...» Я вырвался. Сознание абсурда и впустую убитого времени подступило к сердцу. И в этот момент меня крепко взяли за запястье.

— Вы?.. — поразился я, узнав своего обидчика с площади Восстания. — Разве вы *Оттуда*?

— А ты как думал? — самодовольно усмехнулся парень и завернул мне руку за спину и повел. По пути я увидел среди мраморных крестов чемпиона мира по штанге в тяжелом весе Юрия Власова. Неправдоподобно, чудовищно широкий человек, которого я впервые видел не по телевизору и не полуголым, а в костюме, стоял у могилы Сергея Есенина и плакал, как ребенок, держа в отставленной ручище очки с сильными линзами, за дужку. Кого он оплакивал, было непонятно, но рыдания советского богатыря поразили меня.

Меня вывели из Новодевичьего монастыря и втолкнули в милицейский «воронок».

Внутри он оказался клеткой. По обе стороны от входа в нее сидели милиционеры. Они обрадовались мне:

— Гляди, да это же бегун!..

Удар по голени заставил меня согнуться и уйти в глухую заштиту.

— Знает! Жизненные центры спасает, — похвалили меня. — А документики имеешь, бегун? Открывайся давай, не бойсь!..

Они отобрали мой новенький студенческий билет. Клеймо «МГУ» на нем, видимо, вызвало у них известное почтение: в клетку мне дали войти с поднятой головой.

*

Документ мне вернули в отделении милиции. Перед этим милицейский майор провел воспитательную беседу, то и дело прерывая себя вопросами ко мне:

— Ты же вроде не еврей?

— Не еврей.

— Вот видишь! — подхватывал он, вновь призывая меня «учиться, учиться, еще раз учиться», как завещал Ильич. И не в свои дела — не лезть. — А может, ты «половинка»?

— Что вы имеете в виду?

— Это когда отец русский, а мать — того... нет?

— Нет.

— Как же тогда понять, что ты, наш, русский парень, оказался по ту сторону баррикад? Там же все, как минимум, с прожидью!

— А я не антисемит.

— А кто антисемит, я, что ли? Товарищ?... — удивился майор. — Мы, брат, интернационалисты. Так нас учит Партия. Эх, и дури у вас, молодых, в голове!.. Смотри. На первый раз прощается, а в другой — придется вышибать. Не обессудь тогда. Иди. И больше на пути у нас не вставай.

— Минуточку! — подал голос присутствующий офицер КГБ в виде спортивного парня, злой гений этого абсурдного дня. — Вы позволите добавить пару слов? Если не возражаете, мне с товарищем Спесивцевым хотелось бы тет-а-тет...

Майор вышел из своего кабинета. Офицер КГБ вынул пачку «Мальборо»:

— Курите, Алексей Алексеевич! Американские — вы же любите?

— Предпочитаю «Беломор».

Он рассмеялся.

— Я тоже, знаете ли. Все же угощайтесь. Да вы не бойтесь: одна канцерогеночка вас ни к чему не обяжет. Там, на площади Восстания, мы с вами малость поконфликтовали... Забудем?

Я усмехнулся — с полицейской сигаретой в руке. Он щелкнул зажигалкой, дал мне огня, прикурил и откинулся.

— Вы ведь филолог?

Я кивнул.

— А как вы к Хлебникову относитесь?

— В университете я еще ни с кем не знаком. Не знаю такого.

— Я поэта имею в виду.

— Ах, *Велемира*? Хорошо...

Молча мы изучали друг друга.

— А не хотите ли к нам на работу?

— К вам?

— Да, в Комитет, — небрежно бросил он.

— Мне, знаете ли, еще учиться, учиться и еще раз учиться. Так что насчет работы...

— Насчет «учиться». Из МГУ вы бы, Алексей Алексеевич, вылетели завтра же, не упрости я майора, в вашем случае, не сообщать на факультет. Это во-первых. А во-вторых, «учиться», знаете ли, отнюдь не исключает «сотрудничать». Это вещи вполне совместные.

— Совместные?

— Вполне.

— Не знаю, — сказал я. — Просто не знаю, какой интерес для вас может представлять мой профиль. Вы бы среди «юристов» поискали...

— Э, Алексей Алексеевич, бросьте! — отмел он мои сомнения. — В мире идет война двух идеологий. И речь идет вовсе не о том, чтобы обезвреживать противника с помощью приемов самбо. Речь идет о деятельности чисто интеллектуальной. Как говорил Ленин, овладевая массами, идея становится материальной силой. Так вот, пока вражеская идея еще не стала силой, способной нанести нам материальный ущерб, ее необходимо распознать, выявить, а о носителе ее дать своевременный сигнал. На идеологическом фронте, а МГУ, бесспорно, один из передовых его рубежей, вы, интеллектуалы, самые необходимые сейчас люди.

— Иными словами, вы мне предлагаете...

— Нет! — опередил он непристойное слово. — *Сигнализировать*, я сказал.

— Вспыхивать, то есть? Как лампочка индикатора?

— Вот именно! Что для *нашего* человека вполне естественно при контакте с чуждой идеей. Как лампочка индикатора, да... — Вглядевшись в меня с подозрением, он успокоился. — А знаете, мне нравится ваша нерешительность. Я не ошибся, предположив в вас серьезного человека. Вам нужно время для раздумья — я понимаю. Действительно, так вот, с бухты-барухты, оно не годится. Тем более, что, будем откровенны, решение повлечет за собой последствия необратимые.

— В каком смысле?

— В смысле, что из нашей фирмы по собственному желанию потом не уходят. Не принято это у нас. Так что обдумайте, взвесьте. В случае позитивного решения, звоните. Вот вам но-

мер. — Он написал и вырвал из блокнота листик, который взял двумя пальцами. — Скажете, что по вопросу трудоустройства. Спесивцев, мол. Из МГУ. А там с вами войдут в контакт. Договорились?

— А в случае... другого решения?

— Тогда звонить, конечно, не нужно. Пойдем. Переживем. Каждый имеет право на ошибку; мы в том числе. Но в любом случае о нашем с вами разговоре... вы, понимаете, надеюсь? Никому. (Я кивнул.) Больше я вас не задерживаю. (Я встал и пошел с листиком в руке.) Алексей Алексеевич! (Я остановился и повернулся.) Имейте в виду, что предложение в нашем случае на-а-амного превышает спрос. Говоря попросту: от желающих отбоя нет.

*

Отдалившись от освещенной двери отделения, я, как бы удостоверив себя в своей свободе, перешел на бег. Нога, подкованная при задержании, поднывала, но я пересек все Лужники и последним усилием взбежал на Метромост. Периодически — от поездов метро — он дрожал и наполнялся гулом. Посередине моста я разжал кулак, в котором телефон «Комитета» превратился в ничтожный катышек. Я сощелкнул его с ладони над перилами.

Маслянистая река внизу рябила бликами.

Прихрамывая, я двинулся дальше. Бесшабашно я нахлопывал перила, но мне было нехорошо.

Я спустился во тьму, к подножию Ленинских гор, и бесшумной тропкой под соснами вышел к наземному эскалатору. Остекленные его ступени взбирались в гору, освещая все вокруг ярким светом люминесцентных ламп. Я толкнул стеклянную дверь. В тоннеле, косо уходящем далеко-далеко вверх, не было ни души, но обе лестницы работали. Я пошел на ту, что сползала вниз, и, отбивая ритм шлепками по толстой резине ползущего вниз поручня, побежал вверх по уходящим, сносящим меня обратно ступеням — против течения. На полпути меня нагнала группа веселых подвыпивших негров, моих нынешних однокашников по университету. Некоторое время я бежал с ними вровень, но потом они меня обогнали, скалясь с высоты. Один крикнул:

— It's the wrong way, man! Go with us!

— It's the right one! — возразил я, работая ногами и локтями, и обливаясь потом. — Just right for me...

— You're from where, crazy boy?

Завязнув в мертвой точке взаимоуничтожения скоростей, я подхлестнул себя отчаянным воплем:

— Sankt-Petersburg, USSR!

*

На следующий день в Коммаудитории мне сунули туго скрученный бумажный шарик:

Спесивцев! Взяв вчера полицейский кордон на похоронах Ильи Григорьевича, вы проявили гражданское мужество. Но в одиночку эту стену не пробьешь. Не желаете ли присоединиться к своим единомышленникам?

Ваши сокурсники, которым небезразличны судьбы этой страны.

Почерк был неустоявшийся, совсем детский. Я оглядел ряды. Курс старательно конспектировал за лекторшей, взволнованно повествовавшей о зарождении единовластно правящей ныне партии. Никто в ответ не поднимал головы. Я написал:

Вы обознались, милый друг. То был не я.

Скрутил записку в шарик, пустил обратно по рукам и вновь согнул шею над своим конспектом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: *ALMA MATER*

В один прекрасный сентябрьский день, уклонившись от встречи Индиры Ганди, на которую мобилизовали весь наш факультет, раздав флажки, я вернулся в общежитие, заперся на ключ, сел за машинку и начал роман. Я начал его с белой петербургской ночи, когда бабушке героя наскучило существование, но не успел закончить первую страницу, как в дверь мне постучали. Вот так всегда. Их не зовут, они приходят сами. И они стучат. Самые неожиданные.

Это был штангист по габаритам. Из глубинки. И очень юн. Очки в пластмассовой оправе, мятый костюм и северокаорейские полукеды.

— Здравствуйте! Я ваш сокурсник. С отделения матлингвистики. Бутков моя фамилия.

— Честь имею... Чем обязан?

— На пару слов бы.

— Ради Бога.

Он недоверчиво оглядел стены.

— Лучше бы не здесь.

Пожав плечами, я запер комнату и пошел за Бутковым. В коридорах было сумрачно, на лестницах еще темней. Уверенно ориентируясь, он вывел меня на крышу корпуса, обнесенную каменной балюстрадой.

Осеннее солнце блистало над столицей. Видно было кругом, как с самолета, хотя это и не последняя здесь высота: слева от нас мощно устремлялась ввысь центральная башня. Со шпилем. Всего лишь полтора месяца назад под этим шпилем судьба свела меня с Диной и Яриком. Одна сейчас была далече, другого, может быть, и вовсе не было, а я чувствовал себя постаревшим лет на десять. Преждевременно износившимся.

Бутков подцепил медную проволоку и покачал самодельную радиоантенну. Накрученная на каранадаш пружина была прикручена к позеленевшим каменным перилам и уходила вниз. Антенн таких здесь было прицеплено много. Западное радио чтоб лучше слышать. «Голоса».

— Они о нем молчат, — сказал Бутков. — И «Голос Америки», и Би-Би-Си, и Deutsche Welle, и даже Радио Свобода. Как воды в рот набрали.

— О ком?

Он блеснул на меня очками. — Всесоюзный розыск, говорят, на него объявили. Вы ведь были с ним знакомы. С...

— Нет! — пресек я. — С ним знаком я не был. В этом заведении я вообще ни с кем не знаком. Разве что с вами, Бутков.

— Спесивцев, — сказал он. — Я не провокатор, не стукач. Я ведь тоже из Сибири. Мы с ним вместе брать Москву ехали. Долго, из-за Урала. И он мне кое-что приоткрыл. Может быть, вы думаете, что это его конечная цель была — *рвануть красную нить*? Вы ошибаетесь: это была программа-минимум.

— Ничего я не думаю.

— У него была сверхзадача, Спесивцев.

— Ах, вот как? Сверхзадача. У вас она тоже есть?

— Это к делу не относится. Есть. Другая. Скажите мне только одно: ему удалось?

— Удалось, не удалось — откуда я знаю? Слушайте радио, Бутков. У вас приемник есть?

— У соседа есть — армянина. «Grundig».

— Вот и слушайте. Может быть, прорежется известие — в программе новостей.

— Значит, попытка была?..

Справа крышу замыкала надстройка — четырехэтажная жилая башня. Из двери ее вышел рабочий в синем халате. Во рту папироска, в руке слесарный чемоданчик. Полутрезвая походка. Сидя на корточках у балюстрады, он долго копался в своем чемодане, а мы смотрели на него. Вынул он кусачки — с ручками, обмотанными синей изоляционной лентой. Подтянул к себе пружину радиоантенны и перекусил. После чего сорвал оставшийся кусок с балясины.

— Охуел он, что ли... А ну прекратите! — свирепо крикнул Бутков. — Вы что это хулиганите, а?

— Кто фулиганит, я?!

Зажав в кулаке кусачки, слесарь двинулся к нам.

— Сброшу ведь гада, — тихо сказал Бутков.

Слесарь остановился в раздумьи. Башня глухой стеной выходила на крышу, пустынную, как поле стадиона. Осознав, что можно и загреметь отсюда, если очень настаивать, он хмуро пояснил:

— Я не фулиганю. Я, ребята, обороняю.

— Что ты обороняешь?

— Как что? Ин... Информационное пространство державы. От вражьих «голосов». Приказ ректора, понятно? Так что вы того, не очень тут... — Налитые алкоголем глаза значительно округлились. — При исполнении нахожусь.

Он поймал в кусачки медную проволоку, взглянул на нас — и перекусил. Руки у него дрожали.

По пути обратно Бутков остановился. На площадке темной лестницы.

— Радио, вы говорите? Погреб! Звуконепроницаемый подвал. Вы помните это определение ада? Томас Манн, «Леверкюн».

Я прошел мимо.

Он нагнал меня у выхода в коридор и схватил за локоть.

— Мы — в аду. Вы это понимаете, Спесивцев? Не в метафорическом, а в самом настоящем. Вот вы — вы даже мне не верите. Они все наши связи так: к-кусачками!.. Нельзя так. Надо что-то делать! Нужно восстановить!

— Восстановить что, Бутков?

— Как это что? Связь! Сеть доверия!

— Вы думаете, она когда-нибудь была? Знаете, как мне бабушка говорила? «Царство Божие — внутри нас».

Сквозь толстые линзы он всмотрелся в меня.

— Вы в это верите?

— Нет. Я, Бутков, ни во что не верю. Отстаньте.

— Как, совсем?

Я повернулся и пошел прочь.

*

Вернувшись к себе, я сел было за машинку, но вскоре почувствовал не то, чтобы разбитость — изнеможение. Сдвинуть каретку было трудно, а удары по клавишам отзывались в мозгу. Я продолжал себя насиловать, пока не вернулась эта странная боль под ложечкой. Тягостная такая. Я уже с месяц себя чувствовал как-то не так, но эти новые и неприятные ощущения после удара, полученного от офицера КГБ, локализовались и достигли — да, качества боли. Я лег, подтянул повыше колени — в этой позе боль спадала. Закрыв глаза.

Снилось мне, что я снял номер в питерской гостинице «Астория», но не в наше время, а в середине 20-х годов, в эпоху НЭПа, когда «Астория» называлась еще «Англетером». Я был писатель, я снял, чтобы писать. И я сел к столу, испытывая вдохновение. Обмакнул перо — и вдруг отшатнулся от рукописи, увидя, что пишу кровью. Я вскочил, дернул сонетку. Пришел портье. «Это что такое?!» — закричал я. Виногато косясь в сторону, портье объяснил мне, что накануне в снятом мной номере повесился поэт Сергей Есенин. Не найдя чернил для своего предсмертного: «До свиданья, друг мой, до свиданья / Милый мой, ты у меня в груди / Предназначенное расставанье / Обещает встречу впереди», поэт вскрыл себе вену. С тех пор такой уж, дескать, в номере обычай — кровью писать. Он откланялся, а я

нервически принялся вышагивать по номеру: не хотел я кровью. Кто же пишет кровью, кроме самоубийц? Чернилами должен писатель, обыкновенными, лиловыми... Почувствовав удушье, я стал раздвигать штору, чтобы открыть окно, но рванул излишне нервно — карниз со шторой грохнулся, я едва отскочил — и, пораженный, увидел, что окно номера выходит не на Божий храм, а прямо на Сенатскую площадь (которую в реальности собор Исаакия заслоняет), и оттуда, с Сенатской, мне, Поэту, призывно машут выстроившиеся двумя каре лейб-гвардейцы, лейб-гренадеры, матросы — восставшие против самодержавия декабристы. Я медлю, я знаю, что они обречены, я спасаю свою поэтическую шкуру — и вот уже гремит картечь!.. Отныне все вы будете писать кровью, доносится Глас, ибо предали самое главное — Свободу!

...С ключьями сна в голове я вскочил. В дверь стучали. «Кого еще черт принес?» — пробурчал я, отпирая.

*

Девушку на этот раз. Которая уверенно прошла мимо, села в кресло нога на ногу, подтянула замшевую мини-юбочку к бедрам и сочувственно улыбнулась:

— Ай-я-яй, как нехорошо спать на закате!

Это была русая девушка с улыбчивыми и как бы блудливыми медовыми глазами, пронизанными заходящим солнцем.

— Нехорошо, — сказал я, — но зато сны снятся яркие.

В руке у нее был авиаконверт.

— Это мне?

— Не знаю, — протянула она письмо.

Письмо было из Подпольска, от Дины.

— Мне, — я отложил письмо.

— От девушки?

— От нее.

— Вы ее разлюбили, да?

— Еще не полюбил. А вы кто, почтальонша?

— Нет, я свои вещи забрать.

— Ваши вещи?

— Там, наверху, — показала она. — Я так торопилась на каникулы, что в камеру хранения не сдала. Я жила здесь в прошлом году.

Я поднялся на скользкую перекладину дивана и открыл верхние дверцы встроенного шкафа. Там была картонка с надписью на боку: «СВЕТА ИВАНОВА». Ящик был тяжелый и пыльный. Я его вынул, но на весу не удержал, и на диван хлынули книги, пластинки, лифчики, трусы, черные чулки с поясом, из которого торчали перетершиеся резинки, пепельницы, кофейник с длинной ручкой...

— Прошу прощения. — Складывая все это обратно, я испытал известное смущение от прикосновения к белью. — Здесь просто клад для фетишиста.

— Для кого?

— Фетишисты. Знаете, которые...

Света засмеялась.

— Вы, наверное, с первого курса, да? На первом курсе у нас тоже только и говорили, что про извращения да про КГБ.

— А сейчас вы, Света, на каком?

— О, я уже старуха! На третьем. А откуда вы, Алеша, знаете мое имя?

— На картонке прочел. А вы?

— А я на конверте.

Мы засмеялись. Чувствовал я себя глупо.

— Переходим на «ты»? — предложила она, оглаживая крылышки моей «Колибри».

— О'кей.

— Твоя машинка?

— Моя.

— Зачем она тебе? Только не говори, что пишешь роман.

— Скажу.

— Нет, серьезно?

— Вполне.

— Не пиши, — с серьезным видом сказала она. — Один мой знакомый тоже писал. Знаешь, где он сейчас?

Я предположил самое естественное:

— В лагере?

— Нет, он в армии. Но на китайской границе. Нет, Алеша, МГУ не башня из слоновой кости. Лучше ты живи свой роман.

— Как это, живи?

— А так! Проводи интригу в реальность. Преследуй свои интересы. Будь сам себе героем.

— Ты так живешь?

— Во всяком случае, пытаюсь. Намного увлекательней, поверь. Еще и потому, что на бумаге ты так или иначе, но связан самоцензурой, а в жизни ведь запретов нет. Все, что в книгах запрещают, в жизни разрешено. Я бы даже сказала так: жизнь, Алеша, это сумма запрещенных приемов. Ты кофе пьешь?

— Еще бы.

— Идем, я сделаю тебе по-турецки. А заодно и расскажу кое-что. В порядке шефства. Вы ведь, первокурсники, даже не подозреваете, куда попали. Что здесь почем и who is who. Поэтому и стрессуете. Дефицит информации, вот в чем дело. Так профессор Симонов говорит... Не надорвешься?

Она открыла мне дверь, заперла из прихожей и кокетливо вставила ключ в карман моих брюк. Я вынес ее картонку в коридор и пошел, исподлобья созерцая бойкий ритм замшевой юбочки. То и дело она оглядывалась, наделяя меня улыбкой за внимание к ее ягодицам. Я улыбался в ответ. Могу себе представить обаяние этих улыбок — со вздутой жилой на лбу.

Остаток дня я провел в компании прожженных филологических волчиц со старших курсов — этаким агнцем кротким. Налегал на кофе, курил одну за другой болгарские сигареты и вместе с отборным матом впитывал сугубо неофициальную информацию об изнанке университета в целом и нашего факультета («передовой идеологического фронта») в особенности: о Первом отделе, об оборотнях-инспекторах, о штатных стукачах и добровольных осведомителях, о встроенных микрофонах (которых никто из них, впрочем, не видел), об отчислениях, о похотливых преподавателях и их жертвах с зачетными книжками, о предстоящем распределении, о всеобщей мечте (московской прописке), об оставшемся на Западе комсомольском боссе, о пропавшем первокурснике («Не с твоего отделения, случайно?») etc.

Света Иванова вышла проводить меня к лифту.

— Что это с тобой?

— Все нормально. Что-нибудь не так?

— На тебе лица нет. Ты не в шоке, надеюсь? Не впадай в отчаяние: девочки сгустили краски.

— А я и не впадаю. Просто перекурил.

— А как ты насчет прогуляться?

Она прижалась ко мне, и я ее поцеловал. После чего ответил:

— В другой раз.

*

Дверь оказалась незапертой. «Господи, «Колибри»!..»

Машинка была на месте. Не кража это была.

Это был сосед.

Я сел на диван и, не веря себе, потянул носом. Он занял кровать у окна, он был отгорожен от меня секретером, высоким и массивным, — и все равно от него воняло. Причем, так, будто он не спал, а уже разлагался. Я открыл над этим телом окно, но уснуть все равно не мог.

Я поднялся, сгреб через лист бумаги с пола под его кроватью истлевшие носки и, не помня себя от гнева, швырнул в окно.

Этого, сволочь, он мне не забыл никогда.

*

Наутро он ожил, оказавшись недомерком в метр шестьдесят с небольшим. Хлипкий, но динамичный холерик в заношенных или, вернее, заспанных лавсановых брючках, которые пучились от надетых под них кальсонов, и в пестро-грязном свитерке.

Его внешность — «зеркало души» — заслуживает описания более тщательного.

Левый глаз его заметно пучился; очевидно, последствие удара (заслуженного, не сомневаюсь). Главной же «особой приметой» моего соседа было родимое пятно. Впрочем, может быть, и не родимое, а благоприобретенное: синюшно-бордовое, это пятно украшало его профиль и по шее спускалось под засаленный ворот, Бог знает как расплзалось по телу, вытекая из-под рукава на кисть правой руки, которую он неизменно подавал вам для рукопожатия:

— А ты, Спесивцев, все пишешь? Ну, пиши, пиши: подошьем к «делу»...

Он пристраивался рядом, стрелял сигарету, постреливал кругом своими невесть с чего лихорадочно-сияющими глазками (один выпучен), и вонь, неизменно исходящая от него, постепенно стала вызывать не только гадливость, но и какой-то тошнотворный — ей подстать — и липкий страх.

Я скидывал на руки машинку и уходил из комнаты, уступая территорию без боя. Захмелившись в одиночестве, он притаскивался в холл: «Все пишешь? Дай завизирую...»

По ночам мне хотелось *подавить* этот очаг. С помощью огнетушителя.

Старше курса был лет на десять. Он говорил, что у него тринадцать лет «трудового стажа», намекал на темное, даже свирепое прошлое, то бормоча по пьянке про танк, в котором горел, подавляя восстание (где? Это было до Праги...). То — про алмазные прииски в Якутии, где спустил он якобы «больше тыщи», играя в «очко» каким-то зверским способом: «на пизде». — Что ты имеешь в виду? — То и имею. На лохматке у шалавы. Чтоб азартней, ну?» Напиваясь, он переходил на «фэню», ужасая общежитие; но мог, вскочив на стол с подшивками газет, поразить весь холл монологом из «Гамлета». Не всякий знает дальше, чем «To be — or not to be». Он — знал. Его английский был напорист, хотя питался он исключительно, кажется, салом, которое, вооружившись складным ножом, он перед сном разворачивал из какой-то районной газеты (сало ему присылали. Кто? Мать?..) Он был по-своему умен. Он отдавал себе отчет в рентабельности антисемитизма. Бродя по коридорам во хмелю, он обещал каленым железом выжечь «ценителей Осипа Эмильевича» — и на том же столе декламировал неопубликованные строфы Мандельштама.

Абсолютно непонятно было, каким образом мог он возникнуть в МГУ, причем — на филфаке.

Сам он этот вопрос затемнял, уверяя, что водит дружбу с самим Ястребовым (деканом), которого обслуживает в качестве автомеханика, а с парторгом Урбиным ежедневно «по утрянке» пену с пива сдувает у ларька за станцией метро «Университет». С руководством, однако, его никто не видел; зато отмечена была его «дискретная» связь с Насруллиным — инспектором первого курса (и, как утверждали старожилы, лейтенантом КГБ). И о моем соседе был сделан вывод: «Цыппо — обер-стукач».

Это была его фамилия: Цыппо. Он предпочитал, чтобы его называли по имени-отчеству: Виктор Иванович.

*

Полночь. Внутренний двор. На асфальтовом дне островок природы — скверик. Сквозящее кольцо сирени защищает нас со Светой Ивановой, сидящих на скамейке. Перед нами, над клум-

бой с павшими георгинами, сияет изморось, из кустов сирени щемяще тянет гниющей сыростью, и в этой атмосфере мы с ней занимаемся сексом.

Я не люблю Свету Иванову, но чем дольше пребываю вписавшись в этот уступчиво-бойкий рот (там происходит оргия языков), тем вовлекаюсь в этот секс без оправдания все глубже. В процессе длящегося поцелуя моя рука обнаруживает, что перед прогулкой Света надела лифчик с застежкой спереди. Чем кончится все то, что происходит между нами, я еще не знаю, однако этот факт, говорящий о том, что третьекурсница французского отделения, не имея, казалось бы, для того никаких оснований, заранее допускала возможность вторжения моей руки, меня вдохновляет. Мои пальцы ощупывают пластмассовую застежку, пытаюсь понять принцип, после чего одним движением расщелкивают, и половинки лифчика отскакивают, освобождая груди. Это немалая победа — груди. Особенно левая — «любви». Эта грудь перевозбуждена, я это чувствую сквозь кожу своей ладони, вращая большой палец вокруг стоячего соска. Это как держать в ладони шаровую молнию. Эрогенный ее плод разряжается в меня, заставляя изменить позу на скамейке. Эти расставленные мои ноги выглядят теперь недвусмысленно, поэтому я, не прерывая поцелуя, боковым зрением держу под контролем пространство вокруг клумбы и — сквозь просветы в сирени — лоснящиеся в темноте асфальтовые подходы к скверу. В этот час риск быть засеченным невелик; все же по пути от проходной ко входам в корпуса в просветах иногда промелькивают тени тех, кто допоздна просиживает в городских библиотеках. Трудолюбивых пчел университета. Которые все это принимают всерьез. Которые, сомнению не подвергая доставшуюся им систему, закладывают базу для дальнейшего в ней продвижения. Они добьются многого.

Я не из их числа. И моя траектория — от левой груди нелюбимой девушки к ее же сдвинутому под юбкой бедром; а попутно моя рука бесшумно расстегивает на мне грубую «молнию», по двум причинам: ибо уже невыносимо и чтобы быть готовым. Над линией капроновых чулок ее бедра впускают мою ладонь. То сжимаются, то снова дают продвинуться, и кончиками пальцев я осезаю уже трусы в том месте, где полоска их, туго натянутая, пропиталась уже насквозь. Ошеломляет это. Это — откры-

вение. Все в этой жизни ложь, лишь железы не врут. Они не могут врать. Физиология правдива.

Студентка Света Иванова, сопя, мотает головой, потом, отсасываясь, вслух отрицает непреложный факт.

— Нет.

Момент затмения, после чего я обнаруживаю, что между нами происходит какой-то фарс: мы боремся за трусы. Которые она пытается натянуть обратно, а я наоборот. При этом я лбом упираюсь ей под юбку, в жесткий атлас пояса с туго натянувшимися застежками. Из-под пояса резко пахнет — как бы прелым сеном.

— Ты же ведь хочешь?

— Да, но не могу! Муж у меня — понимаешь?!

— Какой еще муж?

— Муж! — натягивает она трусы. — Законный!

— Ну и что?

— А то, что на границе он.

— На какой границе?

— На китайской. Я же говорила тебе про мальчика, который роман писал...

— Это он, что ли?

— Он.

Я поднимаюсь с гравия и сажусь на скамью. Тупая боль разнимает меня, отдаваясь почему-то в сердце.

— Итак, — говорю я, — верность начиная с трусов?

Она что-то говорит, оправдываясь («Мы год уже не вместе, а вернется он только на следующий. Если вернется...»), потом начинает всхлипывать, а я сижу и говорю себе только одно: «Физиология тоже врут».

*

Цыппо вернулся с факультета с кремовым тортом. Коробку он держал за красный шелковый бант.

— Все пишешь? Когда почитать дашь? «Верь, ни стихов тот не напишет, ни прозы тот не сочинит, чей труд нечитанным лежит!» Кто сказал, эрудит? Вот, не знаешь... Альфред Мюссе сказал. Большой был ебарь, между прочим. — Он развязал ленточку и снял коробку. — Садись, похаваем. Смотри, какой розан! Помялся немного, а все равно красивый. Так и быть, тебе уступаю!

Себе он взял нормальную супную ложку, а мне вынул из секретера почернелую, у которой алюминиевый черенок был скручен спиралью. Цыппо воткнул эту ложку в мятую розу ядовито-салатового цвета.

— Мерси. — Я убрал со стола машинку и бумагу. — Сладкого не ем.

— Воля ваша. — Цыппо зачерпнул розу и отправил себе в рот.

— Тебя еще не вызывали?

— Куда?

— В первый отдел.

— А в чем дело?

— Вызовут, узнаешь... А глазенки зажглись — любопытно, да? Так и быть, проинформирую. Вьюнош один пропал. Ага... Золотой медалист из Сибири. Сдал экзамен, его зачислили, причем, на ром-герм... все чин-чинарем. А к началу занятий, понял, не явился. Исчез. Как языком слизали. Ищут, значит, концы. Может, ты слышал о таком? — Цыппо назвал фамилию и имя.

Я переспросил. Он повторил, выжидательно глядя с ложкой в руке.

— Нет, — ответил я.

— Ну и ладно. Японцы, я читал, тысячами исчезают каждый год. И не слышал ни от кого — на факультете, в общежитии?

— Не доводилось.

— Ладно, исчез, и хуй с ним. Ты вот мне чего скажи... Ты почему не жрешь ничего? У тебя, может, капусты нет?

— Почему? Есть.

Цыппо воткнул ложку в объединенный торт и вынул из кармана сотенный банкнот. — Сходи, купи себе порцию манной каши. Сдачи не надо. Гражданин Спесивцев, кому говорю!

— Идите в жопу, Виктор Иванович.

Цыппо покатился со смеху. — Золотко мое, у меня ж душа за тебя болит, — сказал он, снова принимаясь за торт. — Сидишь тут один — тюк-тюк да тюк-тюк. А потом тебя за эту писанину — хуяк! и за борт. Кандалами по Владимирке загремишь. Ты лучше вот что: мне что-нибудь сочини. Соцзаказ даю. Вот тебе и аванец. Или сотни мало? Слышишь, хрустит? Меня на дух не выносишь, так на, ее понюхай. Или надушить тебе ее, а? «Красной Москвой»? Давай: лист в машинку и стучи. А я тебе продиктую. Как Константин Симонов секретутке. Давай! Значит, так... «В Первый отдел. Заявление. Настоящим довожу до вашего све-

дения, что, невзирая на дружеские предостережения товарищей, продолжаю следовать по стопам небезызвестного вам Солженицера. В целях предотвращения возможного ущерба для первого в мире государства рабочих и крестьян, а также для мирового коммунистического движения, прошу своевременно взять меня под усиленный контроль со стороны «компетентных органов». Дата. К сему подписуюсь: Спесивцев Алексей Абрамович. Или ты Аронович?

— Алексеевич.

Цыппо захохотал. — Ишь, как затаился! Со второго колена! Что, донос на самого себя не станешь писать? Ну, тогда любовное письмо мне сочини. Un billet doux! А то мне никто в общаге не дает. Нос воротят, видишь ли. Мы, говорят, Спесивцеву лучше дадим. Спесивцев, говорят, джентльмен. От него серебристым ландышем пахнет, а от тебя, Виктор Иваныч, — козлом.

Цыппо накрыл недоеденный тортик коробкой, аккуратно перевязал красной ленточкой, потом взял на ладонь и — с места не вставая — толкнул в открытое окно. На манер ядра.

— Это вы напрасно, Виктор Иванович, — сказал я.

— Напрасно, — кивнул он. — Нарушил правила сощобщности, когда мог бы выполнить интернациональный долг, переслав в Бангладеш: там, пишут, сосаловка. В этом ты прав. Неправ ты, знаешь, в чем?

— В чем?

— А в том, что залупаешься на Виктора Ивановича. Таким, как ты — надменным — Виктор Иванович в свое время рыжие девятки кровавил. — Недомерок смотрел на меня в упор, и на лице его, обезображенном пятном, дергалось веко. — Вот этим шванцом!

Он встал, расстегнул штаны, сунул руку в прореху и вытащил член. Здоровенный член в полувставшем состоянии — весь в венах и каких-то буграх.

— Курс хочет давать Спесивцеву, — сказал он, — выебет курс Виктор Иванович. Всех этих ваших тихонь-недотрог. Телочек-целочек. Этим! — Держа член в кулаке, он постучал раздувшейся до синевы головкой о крышку секретера. Как куском свинцового кабеля — такой был стук.

Даже в ленинградских банях не видал я столь жуткого члена.

— Вот оно что, — сказал я. — Ко всему прочему, у вас, Виктор Иваныч, еще и твердый шанкр?

— Шокинг, да? — Цыппо еще раз с удовлетворением посту-
чал по лакированному дереву и убрал член в свои засаленные
брючки. — То-то... А насчет шанкра ты не мандражируй: здо-
ровый я. Могу медсправку предъявить. А что стучит, так это я
себе в Якутии алмазов навживлял. На черный день! Когда мар-
киз де Сад мой отслужит по прямому назначению!..

И он загоготал, выпучивая глаз.

*

В переселении мне отказали. Замдекана по административно-
хозяйственной работе, отставник органов, мотивировал:

— В высотном доме у нас, считайте, тысяч двадцать. И если
каждый станет, как вы? Броуновское движение получится, а
не общежитие. Каждый должен жить по месту прописки.

— Но тут вопрос несовместимости. Острой!

— Вопрос несовместимости, это когда у нас американского
стажера с вьетнамцем в одном блоке селят. Тогда мы идем на-
встречу: воюющие страны, причина уважительная. А вы же оба
— наши, советские парни. Разве не так?

— Да, но, видите ли...

— Стерпится-слюбится! Все, молодой человек!..

Говорили мне: без бутылки коньяку идти к нему на прием бес-
полезно. Но взятку я не могу давать. Чисто психологические
причины. Хотя какое достоинство можно оскорбить в этом су-
ществе с отечным землисто-желтым лицом доходящего пропой-
цы, когда свою карьеру он начинал на фронте в составе трофей-
ной команды, как о том сообщено под снимком бравого лейте-
нанта на факультетской доске почета «Наши ветераны»? Но не
могу.

*

Ужинал я в ресторане «Арагви» — в одиночестве. Заказал на
закуску лобио и сациви в соусе из грецких орехов. Медлительно
я намазывал холодным маслом горячий грузинский хлеб лаваш,
запивал студеным «Цинандали». За дальним столиком под балю-
страдой сидел поэт Евтушенко. Оттуда доносились хлопки шам-
панского и выкрики:

— Это им с рук не сойдет! Я еще Юрию Владимировичу выражу!..

— Эдварду буду звонить! Артуру Миллеру!..

— Плутократов подключу!..

Я съел шашлык по-карски и выпил пол-бутылки коньяку. Девушка напротив пожаловалась спутнику:

— Мне жарко, Гоги. Гоги, я вся горю. Идем на воздух.

С резким акцентом Гоги крикнул:

— Эй, Саша! — Подскочил лысый официант. — Саша, красавице жарко. Сделай ей вентилятор.

Официант надул щеки и бешено завертел полотенцем. Он гудел, как майский жук: «Ууу-у!», вращая полотенцами. Девушка засмеялась, и Гоги сказал:

— Хватит, Саша! Поставишь в счет.

Я расплатился. На лестнице две женщины помогли поэту Евтушенко всходить по ступенькам. Заплетающимся языком он рассказывал им притчу об отважном кролике, который сходил в спящего с открытым ртом Удава, а потом вернулся, безнакаженный.

— Ты наш Калиостро, — невопад повторяла одна.

— Нет, я — Кролик! — выкрикивал поэт. — Но для которого хождение в Удава стало образом жизни! Rabbit, gun!..

Его погрузили на заднее сиденье белой «Волги»-пикап, запаркованной у входа в «Арагви». Поэт открутил стекло и высунулся ко мне, прикуривающему из своих ладоней.

— Здравствуй, племя молодое-незнакомое!

— Здравствуйте, Евгений Александрович.

— Презираешь меня, племя, да?

Я пожал плечами. — Просто не верю, что из Удава можно вернуться.

— Ах, вот как?

— Проглочены мы безвозвратно. Нас уже переваривают!

— Пессимизм юности! «Верую, ибо абсурдно!» Тертуллиан сказал. В чудо веруйте, мальчик! И вы вернетесь. Я — я всегда возвращаюсь!

— Вот на этом лимузине, Евгений Александрович? А-а, — махнул я рукой и пошел прочь.

Официальных путей в этом мире нет. Ни в литературу, ни куда. Прав был Вольф, «подпольный человек»...

У «Националя» я сел в такси.

— Куда?

— На Ленгоры, к МГУ.

Больше некуда мне было...

*

От вони бензина мне стало плохо, и по пути я изошел холодным потом, удерживаясь, чтобы не испачкать машину. Я поднялся на портал Главного входа, и там, за колонной, меня вывернуло наизнанку. Потом я обогнул колонну и сел на выступ ее базы, утирая с висков смертельную, казалось мне, испарину.

Вдруг я услышал голос сострадания:

— Что с вами? Вам нехорошо?..

Я открыл глаза и увидел перед собой большие груди, обтянутые белой майкой. Передо мной стояла девушка в распахнутом пиджачке с поднятым воротником и в черной юбке. Упираясь локтем в свое голое колено, она заглядывала мне в лицо.

— Более того, — ответил я... — Мне плохо.

— Выпил много?

— Не в этом дело. Мне просто некуда пойти.

Она села на соседний выступ, выставив колени. Из сумочки достала сигарету.

— Мне в общем тоже... Ты нелегал?

В данном случае, так назывались абитуриенты, которые, провалившись на вступительных экзаменах, не уезжали домой, как Дина, а выпадали в осадок в здании. Местная милиция и ей содействующие «дружинники»-добровольцы вели за ними охоту путем налетов и ночных облав. Им было трудно, нелегалам. Пропусков у них не было. Но вот Виктории (так звали девушку) удалось продержаться почти три месяца, не выходя из здания. Сегодня она вышла в город первый раз («очень важное свидание»), но войти обратно не могла. Я сделал от ее американской сигареты предложенную мне затяжку и вынул свой студенческий билет, служивший также пропуском.

— Попробуем, — сказал я, — так... Раскрыл и надвое разорвал клеенный темно-синей материей билет. — Тебе половина, и мне половина.

Вслед за подвыпившей компанией студентов с мехмата мы с Викторией вернулись в турникет. Проверив пропуска у мехматян, вахтеры стали им заглядывать за пазуху: не пытаются ли

пронести с собой водку? На нас же, мельком, из ладоней показавших знакомую матерчатую синь, махнули рукой.

И мы прошли.

— Держи меня, не то упаду. — прошептала Вика, скользя по сверкающему зеркалу мрамора.

Я взял ее под руку. Сквозь пиджак я почувствовал упругую тяжесть ее груди.

Под колоннадой Центральной части было сумрачно. Войдя в темноту, Вика сходу припала к колонне. Она обняла полированный гранит и прижалась щекой.

— Спаситель мой! — сказала она. — Куда сейчас, к тебе?

Черные гладкие волосы были стянуты у нее в узел на затылке, обнажая белое лицо. Глаза ее блестели.

— Ко мне нельзя. Сосед — стукач.

— Из какой ты зоны?

— Из «Вэ».

— Я там все ходы и выходы знаю. Идем.

Мы вышли к галерее, нависшей над темным провалом лестницы. Отсюда виден был вход в мою зону. За столом спал вахтер. Вика взяла меня за рукав, чтобы снять туфли. Бесшумно мы двинулись по мрамору, прошли мимо спящего старика с разросшейся клубничной вместо носа, свернули за угол и вошли в кабину лифта.

— Эй! — раздался крик. — Кто там просочился?

Вахтер успел подбежать и даже сунуть руку. Но тут же выдернул, и дверцы захлопнулись.

— Ну, контра, теперь держись! Ерофеич вас сфотал!

В бессильной злобе старик пнул по сомкнутым дверцам, но мы уже поднимались, прижавшись друг к другу в поцелуе. Под пиджаком я обнимал ее за спину. Целуя ее, я чувствовал тяжесть узла ее волос на затылке. Свободной рукой я гладил ее грудь сквозь майку. Грудь была очень большая.

Потом лифт остановился, и, услышав: «Пardon!», я отпустил Вику. Вошел элегантно одетый лилипут Боря — с отделения вычислительной лингвистики. В пальцах у его дымилась толстая кубинская сигара. Мы доехали до десятого этажа, где к нам присоединился увалень в матросской тельняшке. Одна рука у него была нормальная, а другая — как у младенца. И в ней он цепко держал учебник японского языка. Японист с ручкой и Боря с сигарой вышли на двенадцатом, но взамен вошли сразу трое: высо-

кий индус в грязноватой чалме, бородатый чилиец, о котором говорили, что он сын сенатора в правительстве Альенде, и хмурая брюнетка из Польши с шахматной коробкой в руке. На четырнадцатом — запрокинув голову и скосив глаза — вошла рыжая первокурсница с разбитым носом, к которому она прижимала окровавленный кружевной платочек. Обычная публика ночи — и мы с Викторией в нее вписывались.

В холле восемнадцатого этажа, где горел свет, было накурено, но уже безлюдно. За конторкой с телефонным пультом была небольшая дверь. Вика подергала ручку. Заперто.

— Сейчас откроем... — Она раскрыла сумочку. — Ключей у меня — целая коллекция. Наворовала, где могла.

Один подошел.

Дверь, которую Вика заперла за собой, положив ключ в карман пиджака, спустила нас на скрипучую галерею — хоры большого, гулкого и темного зала. Я заглянул за перила. Внизу, накрытый попоной, белел концертный рояль. Вика взяла меня за руку. Поскрипывая ступеньками, мы спустились. Как слепого, вела она меня по паркету, а потом вдруг усадила на диван; черный, он не выделялся из мрака.

Вика сняла пиджак и опустила на пол, брякнув ключом в кармане:

— Все, дорогой мой! До утра можно быть спокойным: здесь нас никто не найдет.

Сбросив туфли, она подтянула юбку. Глубоко подо мной за скрипели пружины. Упираясь руками о спинку дивана, она нависла надо мной, и я запрокинул голову. Под ее майкой я гладил выгиб спины, потом мои ладони поднялись до поперечной полоски — тугой. Я расстегнул ее. Вика глубоко вздохнула. Я завел ей на грудь майку вместе с лифчиком. Округло и тяжело ее груди коснулись моих скул. Поцелуями я раздвоил их вглубь. Растопырив пальцы, я зажал себе уши этой плотью, упругой и круглой. Чувствуя, как надежно держатся эти груди, я вылизывал ложбинку между ними, и был абсолютно счастлив. Ничего я не слышал, только удары ее сердца — нарастающие. Потом был момент помрачения: они были такие большие, а у меня во рту был только один язык. Раззевая рот, я больно вывихнул себе челюсть — и пришел в себя. Сосредоточился на соске — на крохотном и плотном. Втянув язык, я лизал сосок у себя во рту — глубоко.

Вдруг она рванула юбку — так, что крючки отлетели, заскакав в темноте по паркету. Стала растягивать на мне ремень, но бросила, и опрокинулась на диван, издавший стон. Забились ее ноги, сбрасывая трусы; их — белые — я снял у нее со ступни и вознес на выпуклости спинки. Я возложил ладонь ей на колено, вынимая несгибающийся член. Ее руки легли передо мной, раздвигаясь, и я принагнул свой член вдоль ее указательных пальцев. Он был толстый и крепкий, он был со мной, мой корень — и пусть кто хочет отыскивает нечто столь же надежное в атлетизме, в маскулинизации, в садизме, милитаризме, фашизме, национал-коммунизме, — все бред, все майя. Сон и наваждение.

Осторожно я утопил его меж заостренно-лакированных ее ногтей и перенес свою руку, опершись о диванную кожу над изголовьем. Крестик выскользнул у меня из-за пазухи, и я забросил его за спину. Снизу Вика прошептала:

- Предупреди, когда начнешь кончать.
- Зачем?
- Увидишь... oo-o!..

*

После лекционной «пары» по математической логике я стоял в толпе на черной лестнице с латинским текстом из «Метаморфоз». Ко мне протолкнулся сокурсник по фамилии Журавлев:

- Позвольте прикурить.

Я щелкнул по сигарете и подставил. Журавлев, как и злой мой гений Цыппо, имел за спиной темное прошлое, но «темное» в официальном смысле: он учился в разных вузах, откуда его неизменно исключали, по слухам — за «гражданское мужество». Армия ему не грозила: он хромал.

- Что у вас пальцы дрожат, Спесивцев?
- Похмелье.
- Но разве вы тоже пьете?
- Естественно. Или я не сын страны?

— Именно об этом и хотел бы поговорить с вами. — Журавлев притиснулся к стене рядом со мной, чтобы перенести вес на здоровую ногу. Эта деталь, вместе с волосами до плечей, с воспаленными глазами на бледном, без кровинки, лице, придавала ему нечто пародийное, байроническое. — Только, знаете, не в саркастическом смысле, а всерьез.

— Больше не стану, Журавлев. Пьянству — бой.

— Я не о водке, — поморщился он. — Просто мне кажется, что, помимо скепсиса, иронии, *паниронии*, вы способны на нечто более глубокое и подлинное. Я ведь уже давно к вам приглядываюсь. Что это вы читаете?

— Ерунда: Дедал с Икаром. У нас сейчас латынь.

— Тогда я буду предельно краток. — Он затянулся сигаретным дымом. — Зло в этом мире сплочено. И победить его нельзя, не противопоставив сеть, союз, организацию, — назовите, как угодно, — людей, исполненных волей к Добру. Вы знаете эту мысль Льва Николаевича? Старик прекрасно понимал, что иначе заговор Зла не прорвать. На силу — силой. Только так! И силой *коллективной*. Я знаю, знаю: слово вам претит. Но выхода иного нет, Спесивцев. Зло агрессивно, у него своя стратегия по отношению ко всем нам. В частности, и к вам! Вы не заметите, как вас затянет. Этой небытийной системе необходимы призраки. Она вас обескровит — вы не почувствуете боли. Только потом спохватитесь, что были когда-то юны, чисты, добры. Что — *были*. Живым... Чтобы им остаться до конца — живым, *и только*, помните у Пастернака? — уже сейчас необходимо перейти к сопротивлению. Вместе, Спесивцев! Защищая себя, мы сохраним эту страну на уровне Бытия.

Звонок, вынесенный сюда, на лестницу, закладывает барабанные перепонки. Кругом все спешат затянуться по последней, бросают сигареты, устремляясь к лестнице.

— Спесивцев! Присоединяйтесь!

Порывистая спазма сухой, нервической руки — и Журавлев ковыляет вслед за толпой, перехватывая железо перил.

Я остаюсь в одиночестве на черной лестнице. Докуриваю спокойно, а потом, свернув тетрадку трубкой, сбегая вниз и прочь. Прочь с факультета! Что мне они — Дедал с Икаром?.. Никто не убедит меня просунуть руки в ненадежные крылья коллективизма. Миф о Спесивцеве — это миф индивидуализма. Зоологического. Социалистического...

За оградой университета — Москва. Сентябрь, пасмурно. Одиннадцать утра. Бесцельно кружу центром. Становлюсь в очередь за растворимым кофе из Бразилии; не достоявшись, вырываюсь. Какая Бразилия? Никакой Бразилии нет. Есть «стекляшка» напротив Библиотеки имени В.И.Ленина — там я похмеляюсь «жигулевским». Будучи опустошен Викторией, алюминие-

вой ложечкой из граненого стакана ем двести грамм сметаны, запивая пивом. Вместе с группой зевак наблюдая за выездом из Боровицких ворот Кремля огромного «ЗИЛ»а, лаково-черного и с красиво затененными стеклами. «Пуленепробиваемыми», — шепчут в толпе.

— Суслов вроде?

— Бери выше! Юрий Владимирович поехали...

Кто такой? Понятия не имею. Из сильных мира сего я никого не знаю — кроме, конечно, бесконечное число раз воспроизведенного образа «Генерального» — напыженного дядьки с лицом на подкладке самолюбивого жира, с безвкусно разросшимися бровями. С этим образом, опошлившим всю страну, ничего общего у меня нет. И как все это работает, вся эта впившаяся в страну Система, — понятия не имею. Знать не хочу. Что-то гигантское и недоброе незримо существует по ту сторону моего незнания, а я себе иду асфальтовой аллеей Александровского сада — и плевать хотел. Всему посторонний, кроме себя одного.

Задолго до выхода из этого сада под кремлевскими зубцами начинается очередь. Эта — не за бразильским кофе. В Мавзолее. К «Вечно Живому» на причащение. Я говорю:

— Позвольте...

— А ты тут не стоял! — орут в ответ.

— Я не *стоять*. Пройти.

Паломники (откуда? Из каких хамских мест?) неохотно расступаются, и я выхожу за решетку Александровского сада. На площади Революции сажусь в «сто одиннадцатый» автобус, в пустой. Потом меня везут, глядящего в окно. Там скука. И если все это, так называемая эта «юность», действительно, лучшее, что в жизни есть, то что же ожидает дальше, за границей возраста?

Под ложечкой от этой мысли пустота. Мне тошно. Так, что даже возникает окольный страх: вдруг, именно в этот момент, одна из моих клеточек мутируется в раковую?

Потому что иной, чем рак, просто не может быть у этой тоски перспективы...

*

Главное здание. Почта. Неожиданно выбрасывают письмо. Это уже второе, а я и на первое не ответил... «Почему же ты, Алешенька, молчишь?» — вопрошает неустоявшийся почерк

Динки. «Вот уже третий день как я работаю на заводе, а устала уже так, что пальцы пера не держат. Перед этим я целую неделю обивала пороги контор по трудоустройству, но предлагали мне в лучшем случае только карьеру бетошницы или там малярши. На стройке, представляешь? Оказалось, что никакой более или менее приличной работы без блата не получишь. Так что пришлось моему предку отступить от своих принципов. Снял он трубку и позвонил одному своему дружку, бышему чекисту, который теперь заведует кадрами на самом «чистом» в этом городе заводе — ЭВМ. Теперь этот дуб (предок мой) кается: ведь с такой же легкостью он мог бы позвонить ректору любого нашего вуза, и его любимая дочь сидела бы в аудитории, а не у конвейера. Что ж, теперь ничего не поделаешь. Одно приятно: понял наконец предок что-почем в этой жизни, которую он теперь клянет совсем как женщины, с которыми я работаю в цеху. Знал бы ты, чего я только не наслушалась за три этих дня! Все смеются над моей наивностью: «Жизни, мол, не знаешь, девочка!» Но если это и есть жизнь, то лично я предпочла бы вообще не родиться».

Еще Дина сообщала, что брата забирают в армию, и предок пробивает ему (и тут блат!) распределение попримичней. Видимо, будет служить братец в ГДР или в Венгрии, ну, на худой конец, в Польше. На радостях, что на китайскую границу уж, точно, не зашлют, братец продал мне в рассрочку твои американские джинсы. Они сейчас на мне. После трех дней завода джинсы в самый раз, а то тесноваты были. Жаль, что мы не встретились в Подпольске. Никогда не прощу своим предкам, что так получилось. Бог даст, прилечу к тебе на Октябрьские. Крепко тебя целую. Не молчи только, а?»

Я дочитываю письмо на ходу, спускаюсь в столовую, потом, вложив обратно в конверт, засовываю в нагрудный карман. Что. я ей отвечу? Когда у меня все намного беспрсветней.

*

Столовая огромна, как крытый стадион. Куда-то ввысь уходят четырехгранные колонны, мимо которых огромная очередь неподвижно продвигается к раздаточной, к аппетитному лязгу алюминия. Спазмы голода не меньше получаса терзают мой желудок, но вот наконец я отхожу от стойки с тяжестью пластмас-

сового подноса. Забиваю место за шатким железноногим столиком у самой дальней колонны. Иду обратно, за столовыми приборами. В гремучем железном ящике полны яички с ложками и вилками, а ножей нет, как всегда. Почему? Почему именно с ножами такой дефицит в сфере университетского общепита? Чтоб стукачей мы своих не перерезали? Но ведь они тупы настолько, что себе любимому вены не вскрыть, не то, чтобы горло стукачу, которого при желании можно и вилок... Иду на кухню, к посудомойкам. Кричу с порога в этот грохочущий чад, в этот ад: «Мне ножичек бы?..» «Ножичек ему... — отзывается ад. — Ишь, ...тиллегент!» Потом какая-нибудь из посудомоек снисходит, вылавливает из жирного кипятка, протягивает вареными пальцами. Возвращаюсь — и оказываюсь наедине со своими тарелками. Неужели все это я сейчас введу внутрь себя? Душа отравляется через ухо, а вместилище ее через рот. Вот уже неделя, как я вливаю в себя все то же месиво под разными названиями, то «суп-харчо», то «рассольник», то «солянка», вливаю и при этом созерцаю на соседней тарелке остывающее — прохладное — уже умершее на глазах второе. Биточки мясные — из хлеба. Свиную печень, смаживающую на подошву с выброшенного на свалку сапога, разве что окрашена иначе, в зеленовато-голубое... И так еще пять лет. Что со мной станет? Потребляя свиную печень, не мутируюсь ли я за следующую пятилетку? Мертвая пища. Ничего живого — ни овощей, ни фруктов. В сентябре, в пору урожая, на третье — компот из сухофруктов!.. Посреди этого, как говорил Гете, «священного процесса питания» к столику подходит трёхкурсница французского отделения Света Иванова.

— Привет, Алеша! Можно?

— Прошу, — говорю я, отодвигая свои тарелки. — Отчего вы так сияете, мадам?

— От радости. А вы, товарищ первокурсник, отчего унылы? Или с девушками не везет?

— Еще как везет! Отбою просто нет.

— Неужели? — Ей это неприятно. — А отчего ж грустны?

— От пресыщения, — говорю. — Омне анимал тристе пост коитум. Если вы не забыли латынь.

Пренебрежительно фыркнув, она сходила отнесла поднос, а вернувшись, послала меня в нокаут:

— А меня за границу посылают!

— Да?

— Да!

— Уж не в Париж ли?

— Париж, он от меня никуда не уйдет, — отвечает Света, сдувая пар с ложки супа. — А пока я и Алжиром вполне довольна. Что, не ожидал? То-то.

— И можно узнать, кто тебя посылает?

— Не все ли равно? Государство.

— В качестве кого?

— В качестве переводчицы.

— Надолго?

— На год.

— А как же твой супруг-пограничник?

— Что как? Он служит, и я отслужу. За год в Алжире знаешь сколько я заработаю? Вернусь, кооперативную квартиру куплю. И машину. Он демобилизуется, а у нас все уже есть. Будем на своей машине к факу подъезжать. Ты не принесешь мне горчички? Вон на том столе.

Я сходил, поставил перед ней горчицу и взял свой поднос с грязной посудой.

— Что ж, приятного аппетита, — сказал я. — Но как тебе все это удалось, а?

— Жить надо уметь, мой мальчик.

— Но как? — Я снова сел. — Поделись умением.

— Тоже непрочь за границу съездить, а?

— Допустим.

— Ха, — самодовольно усмехнулась она. Она дожевала кусок свиной печени. — Тут много факторов. Во-первых, репутация. Морально-политическое лицо должно быть безукоризненным. Ни пятнышка! Ну, в учебном плане тоже, но это не так важно. В группе у нас, например, есть которые язык намного лучше меня знают. Но о том, чтобы рекомендовать их, у администрации вопрос даже не встал. У кого родственники за границей, у кого папа — художник-абстракционист, кто-то излишне экзистенциализмом увлекается и тэдэ. А у меня все *са ва!* И происхождение даже не из служащих: из рабочего класса. И еду в Алжир я. Естественный отбор, понимаешь? — И она отправила в рот еще кусок, предварительно обмазав его горчицей.

— А муж?

— Что «муж»? Муж у меня в погранвойсках КГБ. И это с точки зрения администрации полностью его реабилитирует. Поду-

маешь, роман когда-то писал! Кто же в юности этим не грешит!

— И это все что нужно, да? Репутация?

— В принципе да. Есть и еще, конечно, кое-что.

— Что?

Она усмехнулась. — Достоинством обладать. Не суетиться под клиентом.

— Что еще за клиент?

— Ну, это так говорится... Не нужно выказывать особого рвения насчет заграницы, когда тебя вызовут на выездную комиссию. Спать с выездной комиссией при этом не обязательно.

— Ну, это мне не грозит.

— Да, по-моему, и заграница тебе пока не грозит, — снисходительно улыбнулась она. — Что тебе привезти оттуда, шариковую ручку?

— А ты вернешься?

— Из Алжира-то? Прежде чем задавать мне такие нескромные вопросы, — сказала Света Иванова, — дождитесь, молодой человек, когда меня в Париж будут оформлять.

— Я смотрю, вы нацелены на серьезную карьеру, мадам.

— А я вообще женщина серьезная. Алжир это только первая ступенька. Очень важная, но первая, понимаешь? Я еще, вот увидишь, в ЮНЕСКО пробьюсь. Лет через пять. А то и в ООН. Не веришь?

— А чего ж не верить? верю. Молодым везде у нас дорога, — сказал я, — как в песне поется.

Мы отнесли подносы, поднялись из столовой в фойе нашего корпуса, оттуда на цокольный этаж. В главном коридоре Главного здания был час пик. Мы приостановились в толпе.

— Суббота сегодня, — сказала она.

— Суббота, — сказал я... — Что ж, ладно. Успехов тебе!

— Слушай, — остановила она меня... — Ты вечером свободен?

— А что?

— Соседка моя сегодня к любовнику едет. До понедельника. У меня есть бутылка «Блэк энд Уайт» и блок американских сигарет. Можно сходить сейчас в «гастроном», купить еды и запересться... Как? Деньги у меня есть, — поспешно добавила Света.

— Деньги не проблема, — растерялся я, — деньги и у меня есть... Но ведь это, мадам, адюльтер?

— Да брось, — взяла она меня под руку, — не будь ребенком. Идем в «гастроном»? Ну, чего смеешься?

— Прагматичная ты женщина все же.

— Какая есть.

Мне хотелось сказать ей что-нибудь язвительное, но в медовых глазах ее горел такой откровенный огонь желанья, по-тютчевски угрюмый, что я испытал странное уважение, как к достойному врагу, и просто мягко высвободился... — К сожалению, я уже приглашен.

— Ах, вот как?

— Увы.

— И кто же она? Какая-нибудь сокурсница-недотрога, да? Из тех, что отдаются порывам страсти до пояса сверху? Отмени!

— До куда именно она отдается, не знаю. — У нас, — сказал я, — чисто интеллектуальные отношения... Не могу. В другой раз?

Как из двустволки, разрядились мне в упор ее глаза, после чего она круто повернулась и немедленно слилась с потоком толпы.

*

Я поднялся к себе на 18-ый, открыл дверь блока, отпер комнату. Соседа не было. Я распахнул окно, чтобы выветрить тлетворную его вонь, и вдруг — неожиданно для себя — вскочил на подоконник. Стоял, придерживаясь только кончиками пальцев, и сквозняк посвистывал у меня в ушах, будто я из самолета выломился наружу. Резко и зябко блистала осиянная даль юго-западной окраины, а там, на асфальтовом дне подо мной, беззвучно отъезжал автобусик, сновали человечки... Немота. В этой немоте и мой полет, вот если выброситься, заглохнет, негромко шлепнувшись об асфальт. Сбегутся человечки, полюбопытствуют и разбегутся. И как не было меня в этой Москве, в этой стране, в этом мире. Я висел, выперев из оконного проема, коченел под ветром, дующим здесь, высоко над землей, и наполнялся абсурдной радостью бытия или, скажем скромнее, пребывания. Социально я был, есть и не смогу стать ничем больше нуля, но в этот момент мне было плевать на все свои невозможности, все искупала возможность просто жить, чисто биологическая, и я был благодарен Богу.

Внезапный рывок втащил меня обратно, и я покатился в обнимку с вонючим Цыппо.

Мы вскочили на ноги, взъерошенные.

— Ты чего? — пучился на меня глаз. — Ты это чего надумал? Уже до ручки дописался, да?

Я шагнул мимо и сел на диван.

— С чего ты взял? Я просто воздухом дышал.

— Он дышал! Знаем мы таких.

Цыппо сходил закрыл дверь, вынул бутылку из принесенного с собой бумажного пакета, содрал станиоль. — Будешь?

Я мотнул головой.

Он присосался к горлышку, запрокинулся, забулькал... Небритый кадык его равномерно проталкивал внутрь «бормотуху». Деньги у Цыппо были, но пил он неизменно эту рублевую отраву. Может быть, он просто уже давным-давно мутировался от этой дряни и ушел по ту сторону добра и зла? Отсосавшись, Цыппо утерся рукой, мазнув своим синюшным родимым пятном по воспаленным губам.

— Самоубийца, — изрек он, — это робкий убийца. Чезаре Павезе. Итальянский писатель-коммунист. Ясно?

Вынул из пакета кус «любительской» колбасы, грамм этак на четыреста, ободрал целлофан и алчно впился заплесневелыми, но острыми зубками. Не сжевал — с х а в а л .

— Убивать, — сказал, — на это у тебя кишочки тонкие. Другое дело голубком этак выпорхнуть. Ангелочком, да? Над бойней парить? У-у, н-ненавижу! — Он снова присосался к бутылке.

— Если так, то почему же ты меня не вытолкнул?

— Почему не вытолкнул?

— Щелчка бы одного хватило.

Он смотрел на меня помутневшими глазами, переживая толчок «бормотухи» в мозг, и родимое пятно медленно расцветало на половине его физиономии.

— В детстве, — сказал он, — я голубей ловил, а потом варил их в немецкой каске. Один, понял? На свалке, в карьере заброшенном. Ты любишь свалки, Леша?

— В детстве я как-то больше по Эрмитажу околачивался, — ответил я. — Под шедеврами мирового искусства.

— А я люблю. — Он выпил и закусил. — Я, можно сказать, вырос на свалке. Что молчишь? Прокомментируй. Скажи мне, к примеру: «Оно и видно, Виктор Иванович». Кроткий ты мой го-

лубь!.. Бабы из бараков наших по ночам туда, на свалку, эмбрионов сбрасывали.

— Эмбрионов?

— Ну. — Он разболтал «бормотуху», будто краска ее уже выпала в осадок, и присосался снова. — Лишних, то есть, детей.

— В сюрреализм впадаете, Виктор Иванович...

— Э, мальчик мой, жизни ты не знаешь... Было! Кормить, понял, нечем, а закон, он аборт запрещал. Дура лэкс, сэд лэкс! При Сталине так было. Раз, понял, упустил я голубя. Дай, думаю, сварю эмбриошку. А внутренний, бля, голос подначивает: «Слабо тебе, Витюша!» Ах, слабо? А я такой с детства был, что всегда себе вопреки шел. Наперерез. Взял и сварил.

— И голубей уже в пищу не употреблял.

Он не спеша, но с большой серьезностью сфокусировался на мне.

— А чего ты, понял, лыбишься? Как ебану сейчас бутылкой.

— Попробуй, — отозвался я не вставая. — Тогда я тебя, гиена, сморчок, потрошитель ублюдков, возьму за шкуру и выброшу отсюда к ебенеи матери! Ты осознал?!

Цыппо размяк, расплылся в улыбке.

— Не мальчика, но мужа речь. Взрослеешь на глазах. Про гиену и прочее я в памяти удержу. Я, знаешь ли, злопамятный. Из эмбриона в фрицевской каске Сверхчеловек родился. И он вам шеи перервет!

Размахнулся и, обливаясь «бормотухой», запустил бутылкой в сиреневое закатное небо. И огрызок колбасы туда же, в окно. Для забалдевшего метнул с большой, кстати, точностью. После чего поднялся со стула, прямо в грязных ботинках влез на свою кровать и перевесился через подоконник — проверить. Потом и колено на подоконник поставил.

Одного пинка достаточно... подумал я и во рту пересохло, как от неизвестного еще по силе вожделения. Я стоял в двух метрах от этой скорченной фигурки и, хотя сердце бухало в самом уже горле, спокойно собрал все возможные на себя улики. Их не было. На восемнадцатом этаже из лифта вышел я один, и в коридоре никого не встретил. Проблема будет в том, как выйти незамеченным, но и это разрешимо — направо по коридору в пяти метрах черная лестница. Ни отпечатков пальцев, ни окурков. Что же касается алиби, то обеспечит мне его Виктория.

Цыппо оглянулся вдруг, ослабился, и снова засмотрелся в пропасть.

Н-ну! Давай же!.. окрикнул я себя.

Но так и не смог выйти из паралича, выпустить край стола, изю всех сил зажатый в ладони.

Цыппо попытался, сполз и мешком повалился на свою вонючую кровать. Довольно смежил веки и забормотал:

— Суетятся людишки. Сбежались, ручонками машут, в небо тычут. Жаль, промахнулся я. Но и пугнуть людишек тоже очень приятно. Ты, небойсь, тоже жалеешь, Лешечка. Какой ведь шанс упустил: кувырк, и не было б Витюши. Слабо тебе. Еще носочки Витюшкины, это ты способен, да, но не свыше. А может, меня сонного выбросишь? Ты постой, подумай, поразмышляй, побоняй, а Витюша, он пока поспит. Ну, а проснись, и уж тогда не обессудь: съем я тебя, мальчик-с-пальчик. Ням-ням, — дурашливо промямлил мой сосед и спустя минуту упоенно захрапел.

Помимо всего прочего, аденоиды у него были.

Напряжение спало, и внезапно меня согнуло от мучительной боли под ложечкой. Я дотащился еще выключить свет, а потом повалился на свой диван. Когда боль отступила, я снял с себя ремень и примотал себя за левую руку к никелированной трубе в изголовье: он, конечно, в университетском плане имел в виду, но все же, по пословице, береженого Бог бережет...

Тем более, что окно осталось на ночь распахнутым.

*

Утром меня будит моя собственная улыбка: я жив, к тому же воскресенью! Вчерашнюю боль как рукой сняло. Нет, здоров я. Какие могут быть сомнения? Эрекция — как будто в мае. Бицепс — стальной. Вот язык слегка обложен разве что, но зато глаза: ясные, чистые, все сознающие. Я тщательно бреюсь, принимаю душ. Надеваю новые носки и чистые трусы, свои лучшие, снежно-белые, изготовленные в Венгрии, где еще учитывают наличие у нас, мужчин, двух-трех деталей, совершенно излишних с точки зрения обшивающего нас государства.

Сосед из-за секретера бурчит:

— Наладился уже? Смотри, до вечера не приходи. Ко мне тут прилетит одна беляночка-недотрога. Бабочка-капустница в пау-

тину Витину. Уж Витя ей пыльцу пообтрясет, будь уверен... Сказать кому?

Я молча зашнуровываю кеды. Сносил я их за это лето. Но ничего, в здании еще можно.

— Обет молчания дал, — комментирует Цыппо. — Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Неинтересно ему. А Вите все интересно. Витя с детства любознательный. Эй, Лешечка? А ну откройся, голуба, кому свою невинность понес? Ну ничего, мне сообщат. У меня везде своя агентура. Запомни только: женщина есть мера достоинства мужчины. Виссарион Белинский. Неистовый Виссарион!

— Тоже мне, — не выдерживаю я, причесываясь перед зеркалом с обратной стороны дверцы шкафа. — Филолог в штатском!

— Что ж, плюй, плюй в колодец, — немедленно оживляется голос. — Оплывай ближнего своего, давай. Все лучше чем в молчанку играть. Скажи, кого ебешь, и я скажу, кто ты. Лично я Распоповой Олечке сурприз готовлю. Аппетитная девочка, верно? Сытая. Уж, верно, папа с мамой души в ней не чаяли, оладьями кормили, репетиторов нанимали... Да-а... Казалось бы, все при Олечке: и стать, и гладь, и есть за что взять. Только вот душоночка у нее кроткая. Зайчик прямо махонький. Неуверена в себе, боится всего. Исключения трепещет так, что даже больше меня. Что ж, прискочет, возьму тогда, пожалуй, под свое крыло. Блаженны нищие духом под крылами демона-хранителя.

— Это ты-то демон? — бросил я выходя и уже не хлопая дверью, но затворяя с безразличностью, от которой он взвился, должно быть, над своим вонючим логовом.

После субботнего загула народ отсыпался. Коридоры этажа были пустынные. У лифта было наблевано и вдобавок закапано кровью. Кому-то дали в нос так, что и в лифте, и — восемнадцать этажами ниже — на мраморном полу галереи кровотечения было не унять. В подвальном буфете я съел стакан сметаны, запил молочным коктейлем и купил огромный астраханский арбуз, благо очереди почти не было.

*

Корпус «Ж» — один из тех, что находятся на флангах Главного здания. Со зданием этот корпус на верхнем этаже смыкается галереей, но она, галерея, перекрыта во избежание излиш-

ней миграции студентов внутри этого улья. Оставлен только один ход — наружный, из внутреннего двора. Я благополучно миновал контроль и поднялся на второй этаж. Прямо — длинный коридор, налево — короткий. Я свернул налево и, оглянувшись, негромко постучал в конспиративную дверь. Я стучал тихо, но настойчиво, пока за этой дверью не скрипнула внутренняя, невидимая. Босо подошли шаги.

— Кто?

— Опер-отряд! — сказал я. — Облава, Виктория.

— Алешенька! Явился не запылится!.. — За дверью она голая.

— Ого, какой арбузище! Входи-входи. Только тихонечко, мы еще спим.

— С кем? — запинаясь я на пороге.

— А с Лизочкой вот. Ты уже проснулась, солнышко? Это вот Алеша, очень интеллигентный мальчик из Ленинграда, серебряный медалист, с первого раза поступил. Не то, что мы.

Виктория забирается под одеяло, садясь в изножье, а с изголовья того же дивана, опершись на локоть, на меня сонно и неприязненно глядят серые глаза белокурой Лизочки.

— А закурить у твоего интеллигентного не найдется? — Лизочка приподнимается на локте.

— Солнышко, натошак?

Лизочка берет у меня сигарету, косо вставляет в распухшие губы. Я даю ей прикурить. Лизочка с наслаждением выпускает дым сквозь ноздри, и Виктория этак по-матерински шлепает ее сквозь одеяло:

— С твоими цыплячьими легкими... Не стыдно?

— Теперь, — говорит Лизочка, — рубль мне займы и хоть до вечера резвитесь. Есть рубль?

Даже три. При виде мятой зеленой бумажки Лизочка выскакивает из-под одеяла, и я (с арбузом в руках) задвигаюсь поглубже в кресло. На семи метрах жизненного пространства сразу две голых девушки — это для меня слишком. Виктория, — обтекаемая, полногрудая, — подмигивает мне заговорщицки на свою подругу, тощую, гибкую. Беззастенчиво демонстрируя передо мной узкий мысок куцых волосиков, подруга вставляет ступни в туфли с высокими, но сильно стертymi за лето о московские тротуары каблучками, идет в сортир, оставляя сигарету дымиться на краю стола, кричит оттуда, писая, что жрать охота —

умирает! Влезает в узкое и мягкое голубое платье, которое Виктория ей застегивает, чиркая «молнией» снизу вверх, закрывая проступающие хрупко позвонки. Берет небрежно зеленую бумажку:

— Вечером верну. Пока!

— Заметил? — говорит Виктория, выпуская ее, — без трусов выскочила опять. Отчаянная!

— А куда это она?

— На охоту. Волка ноги кормят. Ты не думай, Лизок очень развитая. Третий раз уже на философский сдавала и обратно, представляешь? по конкурсу не прошла. Обидно, да? Но ничего! Мы с ней поклялись, что на этот раз костями ляжем, но из Москвы ни ногой. Рыщем теперь, яко две волчицы.

— На волчицу похожи вы меньше всего.

— А это как сказать... У Лизочки, правда, пока без вариантов, а я вот уже вышла на одного влиятельного москаля. Может быть, еще и останусь в Москве.

— В качестве супруги?

— Боже упаси! В качестве натурщицы.

Вика полулежит, опираясь на локоть. Я бросаю взгляд на выгиб ее бедра под простыней. Она усмешливо отводит прядь волос со щеки.

— Что, разве не гожусь?

— Только для Ренуара.

— Ренуар предпочитал рыжих.

— Он кто, художник?

— Он? Скульптор-монументалист. Жутко богатый старик: то ли «заслуженный», то ли «народный». А, главное, со связями: один звонок в Моссовет, и моя судьба решена. Стоять на постаменте в виде «Родины-Матери» из гранита. До скончания веков, или, по крайней мере, советской власти. Если, конечно, я его устрою. Завтра еду к нему в мастерскую. На пробу, ха!.. Что ты на меня так смотришь?

— Как я на тебя смотрю?

— А так: глазами мальчика. Старики, они от вас ничем не отличаются. Разве что восторженной перед женщиной, особенно молодой. Этот мой — ну, просто теленок. Одно на уме. Даже не верится, что он всю жизнь вождей из камня вырубал. И он щедрый. Знаешь, как он меня в «Берлине» кормил? Одной икры я

слопала рублей на пятьдесят. Не очарую его, так хоть на месяц, думала, вперед наемся.

— Не наелась?

— Увы.

Я раскручиваю арбуз на столе. Он валится на бок, сплющивая коробку спичек. — У вас нож есть?

— Не держим. А, впрочем, в секретере посмотри.

Я опускаюсь на колени. На нижних полках секретера — пустые бутылки из-под болгарского вина (сдать их нельзя) и согнутая углом вилка из университетской столовой.

— Нету.

Ее ладонь оглаживает мне подбородок.

— Не пожалел себя: выбрился. Такой гладкий...

Она отодвигается, и я присаживаюсь, созерцая арбуз, как проблему, в то время как ее пальцы расстегивают на мне рубашку и, убедившись, стоит ли, отстегивает поясной ремень.

— Знаешь что? Я его *размозжу*.

— Раздешься, не то забрызгаешься.

Я нагибаюсь — развязать кеды. Отброшенная на стул одежда, которую я провожаю кратким взглядом, могла бы принадлежать сезонному рабочему из «Гроздьев гнева».

Пониже поясницы она шелкает меня резинкой.

— А трусики?

— Но вид у меня будет не античный, — предупреждаю я.

— Алеша! Не забывай: мне уже двадцать один!

Не без сожаления отбрасываю я свои трусы — элегантные и безукоризненные. Беру арбуз в ладони и, занеся над головой, одним ударом раскалываю на каменной плите подоконника, всем телом удерживая сочно-красные куски. Стекло передо мной все в мелких каплях дождя. Тысяча окон смотрит в пасмурный день. К одному из них прильнуло черное лицо — изумленное. Нагой Спесивцев, побеждающий арбуз. Бесспорно — это зрелище. Даже для африканца, выдавшего иные виды.

Вика садится, скрещивая ноги. Я опускаю разбитый арбуз на смятость простыни между ее коленей — и странная вещь происходит со мной. Вдруг я будто расслаиваюсь — как слюда. Не единая будто душа, а слоистая. С микрорзвоком, который включается в голове, часть души отпадает и уносится прочь. Отлетает мое восприятие. Я сажусь. Я — пустой. Я смотрю — и не вижу. Кто это передо мной? Я касаюсь смуглой кожи колена, но на

кончиках пальцев — ни следа. Обесчувствовались. Полная анестезия. Вместе с этим извне — не присевшим на стул соглядатаем-невидимкой, а издалека, через космос — вижу я эту пару существ. Вижу — чьими глазами? Бог ли смотрит? Или бдит Сатана? Это — око циклопа. Черной дыркой зрачка вынимает он *это*. Здесь-сейчас. Сей момент. Все, что есть у меня, настоящий момент, — он уходит, срывается прочь и уносится, как через выюшку, — в трубу. И мне жутко. Будто это большое Никто, окружившее нас, подвело пылесос, прободало и комнату, и ситуацию, в меня в ней — с мощной силой отсасывая от реальности.

С усилием я возвращаюсь: *прихожу в себя*.

Это, милый мой, жизнь. Как она, видишь ли, есть... Эта — напротив — твоя соотечественница. С ней у вас — секс. А красная яма меж вами — это арбуз. Астраханский. Вот и все. Больше нет ничего. Остальное же — от Лукавого. Вспомни Вольфа, и что говорил он про Гуссерля. Про феноменологическую редукцию. Как «очищал» свою ментальность Вольф от «ингредиентов небытийности»: *«Вынеси за скобки все внушенное пропагандой. Только опыт, Алексис! Голый, непосредственный. Прямой»*.

Вот, я с Викой. Поочередно запускаем мы руки в арбуз. Багровые куски сочатся розовым, истекают семечками. Взглядывающая друг на друга, мы впиваемся в них. За спиной дождь нахлестывает по стеклу. Жесткие мои колени соприкасаются с ее, мягкими, а между ними — чрево бытия разверзлось. Красное нутро. Откуда вынимаем причудливые куски. Не оторваться — такие они сладкие. Их сок стекает по моей сотрапезнице — медленными струйками. С незагорелой белизны груди ей капает на смуглую полноту бедра. Ползет по коже живота, спускаясь в белый треугольник и утопает в резкой черноте волос, курчавая обильность которых исчезает под Викторией, наклоняющейся над дырой арбуза. Ее сильное горло. Жемчужность зубов. Мокро-полные яркие губы с намеком на усики на оттопыренной верхней. Она всасывает — широким таким звуком. Блеск ее языка. Вид блаженный, блажной — и глаза с поволокой.

Доев арбуз, мы его допиваем. Я оставляю пустую оболочку и, повинувшись нажиму Викиных ладоней, откидываюсь на подушки. Ее волосы повисают надо мной, ласкают кожу бедер. Потом их тяжелая мягкая масса затопляет меня. Я разеваю рот, но стон мне удается сдержать. Я запрокидываю голову, берусь обеими руками за никелированную трубу поручня в изголовье этой по-

стели. Высоко надо мной пустота потолка. Тень в завитках бессмысленного лепного украшения эпохи «излишеств». Сумеречный угол. Прикусив свою нижнюю губу, я резко перекалдываю голову, глядя, как из розетки свешивается ко мне матово-пыльный шар стеклянного плафона. Уныло барабанит по оконному стеклу дождь. Внутри корпуса — тишина. Только изредка прошлепают где-то по коридору ленивые, воскресные шаги. Я лежу, удерживая себя в блаженной рассеянности. Но переплеск ее волос становится быстрее и хлеще. Я закрываю глаза, изо всех сил сжимая поручень в ладонях. На вздохе я задерживаю дыхание, а потом вдруг слышу удивительный свой вскрик. Я поднимаюсь на локти, пытаюсь ускользнуть. Но Вика не пускает, извлекая из меня еще большие вскрики, один за другим. Повиснув на перекладине, я извиваюсь всем телом. Потом я роняю руки и перехожу в неподвижность, извиваюсь всем телом. Этой бритвы внезапно во рту у нее я не вынесу! Я выношу... И потом, отпуская железо, мои руки отпадают на простыню. Под тяжестью опустошенности, которая вдавликает меня в постель, я делаюсь плоским-плоским. Как бы самостоятельные, ложатся на меня ее груди. Ее волосы накрывают меня. Жарко дышащий рот влажно отыскивает мои губы. Не без замешательства уступаю я ей, находящей не сразу привычную форму поцелуя, который на этот раз возвращает мне свежий вкус моей жизни. Сокрытой от меня самого. Сокровенной.

— Ты молчишь?

Если бы только я один! Молчит вся русская литература. О том, чем мы живем, язык наш информирует нас только в форме тысячелетней рабской ругани, омраченной гулаговским языком, прямым производным от которого является хваленое их «целомудрие». Ужо вам, ханжи! Вдребезги собьем оковы. Одним ударом! Ударом правды. Непринужденной артикуляцией цивилизованных людей, какими все же, несмотря на репутацию, как будто бы являемся.

— До тебя я барахтался в мелкой воде. В «лягушатнике». — Я целую ее. Я ее не люблю. Я ей страшно признателен. — Это омут. Нет слов.

— Лучше, чем в первую ночь?

В этом смысле тогда, в темном зале, я лишился невинности, после чего мы уснули в обнимку под попоной, которую сняли с рояля.

— Не с чем сравнивать. В первую я был в отключке.

— Меня муж знаешь как называл? Лучшей из минетчиц Ростова-на-Дону.

— Ты была замужем?

— Угу. За мотогонщиком. Год.

— Развелись?

— Он разбился. На гонках в Башкирии. Знаешь, что? Давай-ка лучше на пол перейдем.

— Зачем?

— Покажу тебе кое-что. Как мы с ним делали, когда он в гипсе был. Он всю дорогу бился... Эх, и шальной же был мужик! — говорит Вика. — Настоящий камикадзе.

В четыре руки мы укладываем на пол пружинные диванные подушки, а поверх расстилаем матрас.

*

Лиза говорит:

— С вашего позволения я открою окно.

Сбросив туфли, ее ноги проходят между нами. Уже темно. Она взбирается на кресло и, перегнувшись, распахивает раму. Запах высоты. С бутылочным стуком опускает она на стол принесенную с собой пластиковую торбу и садится с ней рядом. При этом Лиза с силой втягивает воздух меж зубов, будто стол ее обжигает. Нажав кнопку настольной лампы, она говорит нам сверху:

— Что, голубки, наворковались? Я вам пива принесла.

На интенсивно лиловом иностранном мешочке фирменная надпись: «Liberty». Из него Лиза достает бутылки с пивом. Ободрав пробки о спинку казенного кресла, она раздает нам бутылки. Это чешское пиво. Темное. Я беру в рот горлышко и запрокидываюсь. Оно тепловатое, но от этого еще хмельнее.

— Утром в киоске давали, — говорит Лиза. — В центральной зоне.

Мы сидим на матрасе, а она на столе. И пьем пиво.

Между делом Лиза извлекает пачку американских сигарет. «Kent» king size. Она небрежно распечатывает. Она протягивает нам пачку — белыми фильтрами наружу. Мы закуриваем, и Вика под простыней толкает меня коленом. — Сигареты тоже давали?

— Нет, — говорит Лиза. — Сигарет не давали. Молодой человек, я вам, кажется, трешку должна?

— Почему так официально? — говорю я.

— Это она ревнует, — говорит Вика. — Ничего ты, Лизок, не должна. Уж трешку-то я отработала! Правда, Алеша? Ты Алешу еще не знаешь, — смеется она. — Он только с виду интеллигент. А так шпана шпаной.

Устало усмехнувшись, Лиза говорит:

— У вас, Алеша, случайно связей в преступном мире нет?

— В преступном?

— Ну, среди фарцы... — Из-под обшлага голубого рукава она выдергивает деньги, туго сложенные гармошкой, и бросает нам на простыню.

Это не рубли. Вика растягивает серо-зеленый банкнот.

— Доллары?

— Они самые. Двадцать «баков»! — говорит Лиза. — Если удастся реализовать один к четырем, то уже получка молодого специалиста. Так как, Алеша?

Доллары я вижу впервые в жизни. Четыре бумажки по пять. Двадцать «баков», бывших в употреблении. Засаленных и грязных. От них исходит магнетизм иной жизни. Напористой, опасной, бешено-живой. Соответствующие образы передовой литературы теснятся в голове. Холден Колфилд, сэлинджеровский христосик... Сцена с лифтером...

— Не, с экономикой я связей не имею. Тем более, с параллельной... Откуда они у тебя?

Лиза выпускает в моем направлении струйку дыма.

— Оттуда. «Форин» подарил.

— «Штатник», что ли? — спрашивает Вика?

— Ага! — говорит Лиза... — Вчера из джунглей. И если бы из нью-йоркских... Ладно, мальчики-девочки. Лично я сейчас в душ.

Вика сбрасывает нашу общую простыню. И мне плевать.

— А нас возьмешь?

— Если шалить не будете... Расстегни мне.

— Шалить нам уже нечем. Да, Алеша? Расстегни ей.

Поднявшись, я хватаюсь за край стола. Ноги не держат. Перед глазами пятна. Поднимаю руку и, ухватив в щепоть, спускаю «молнию». Потом беру свое пиво и, отхлебнув глоток, плетусь за подругами в душевую и приваливаюсь к косяку.

Под горячей водой Лизу сгибает. И она постанывает, упер-

шись мокрой головой в кафельный угол. Потом она, не оборачиваясь, говорит:

— Бедная моя пипочка... Учили же нас в свое время: «Не ходите, дети, в Африку гулять!» Алеша твой здесь?

— Здесь.

— Пусть отвернется на минутку. Он отвернулся?

— Отвернулся.

Глядя в стену, я допиваю пиво и стою с пустой бутылкой в руке.

— Он еще здесь?

— Здесь.

— А чего он как неродной?

Я поворачиваюсь, ставлю бутылку на запотевшую стеклянную полочку над раковиной. Потом я переступаю порог душевого отсека и задвигаю за собой занавеску. Они в общежитии бледно-желтые, клеенчатые. Мгновенную ассоциацию с больницей выбивает из головы напористая кисея горячих струй. Я обнимаю скользкие плечи девушек, их руки обнимают меня, намазывают... — Не может быть! — восклицает Вика! — Знаешь, сколько раз он у меня сегодня кончил? Ты не поверишь! — говорит она, и я испытываю бессмысленное счастье тупого скота. — Счастливчик! — перекрикивает Лиза воду. — Я так — ни разу! Заработать дали, любви пожалели! — А мы не пожалеем, да, Алеша? Полюбим бедную Лизу? — Любите, вся ваша! «Любите под душем!» Как Евтушенко советует!..

*

Вдруг мне в плечи впиваются ногти. Одновременно мне зажимают рот. Я вскакиваю, оскальзываясь. Протираю глаза. На лице у Лизы гнев, на губах у Вики палец... Перекрываем шум воды, из коридора доносится стук:

— Опер-отряд! Проверка документов!

Не выключая душ, мы возвращаемся в комнату. Я рывком натягиваю штаны. Обрываю шнурок на кедах. Рубашка липнет к мокрой коже. До горла застегиваю куртку. Платье на спине у Лизы. Которая защелкивает свой «Кент» в Викину сумочку.

— Бам-бам-бам! — стучат в дверь блока кулаком. — Открывайте!

Судя по топоту, их в коридоре целая толпа. Низколобых добрыхотов содействия милиции.

Вика предлагает вариант:

— Сдаемся?

Лиза мотает головой. С кончиков волос летят капли.

— Бродяжничество, проституция... Еще посадят.

— Не посадят.

— Да? А доллары? Во всяком случае — прощай Москва!..

За дверью говорят:

— Так чего, вышибать или погодить? — Погоди, Чурбанов, сейчас откроем! Кубарев, давай сюда комендантшу! — Да вот она!..

По коридору приближается звон ключей.

— В окно! — решает Лиза. — Уйдем по карнизу!

— Меня груди столкнут, — говорит Вика.

Я вспрыгиваю на подоконник. Высовываюсь и смотрю вдоль карниза. Потом оборачиваюсь в комнату:

— Груды пройдут.

За дверью голос комендантши:

— Этот блок, ребята, еще не заселен. — Да? А кто, по-вашему, там в душе моется? — Точно... Сейчас тогда откроем. — Слышно, как перебирают связку ключей.

— Эх, была не была! — решается Вика.

Лиза закрывает дверь комнаты. Поворачивает ключ на два оборота и оставляет в замке. По пути к окну выключает настольную лампу. Я поднимаю ее на подоконник. Потом спускаю на карниз.

— Стоишь?

Она кивает. Открывает руку и уходит налево.

Вика намного тяжелей. Я держу ее изо всех сил, пока она, прикусив губы и отсутствующе глядя мне в глаза, находит опору. Она говорит:

— Стою.

Я выпускаю руку.

— Теперь иди.

Медленно Вика удаляется за грань, и я вылезаю.

Подошвы моих кедров всеми своими присосками влипают в шероховатый камень карниза. С мгновение я смотрю в черноту оставленной комнаты. Потом я отрываю подошву. Шаг вправо — и я отражаюсь в темном стекле соседней комнаты. Еще шаг. Еще. Простенок между блоками — самое трудное. Потому что лицом к лицу со стеной. Правая рука нащупывает грань ниши. В

соседнем блоке — никого. Поблескивают каплями стекла. Боковым зрением я держу под наблюдением девушек. Лиза первой входит в зону света. Она стучит по стеклу. Ей открывают, но не впускают. Она идет дальше. Я нагоняю Вику, беру из руки у нее туфли. Она идет босиком, притираясь к простенкам грудью. Они молодцы. Я бы с ними на край света. На окне, куда не пустили Лизу, — штора. Что за подонок за ней? В соседней комнате через стекло я вижу девушку, которая рвет письма. Это уже немолодая девушка. Пятикурсница? В очках, в черных лифчике и трусиках она сидит с ногами в груди писем. Они явно из-за границы — в длинных голубых конвертах с сине-красной авиакаймой. Прочитывая их вполглаза, пятикурсница откладывает сигарету в пепельницу и рвет их, бросая клочки в чемодан. На полу под ней бутылка болгарского рислинга. В бледном вине плавает проткнутая вовнутрь пробка. Указательным пальцем она утирает слезы из-под очков. В соседней комнате занимаются тем же, чем и я сегодня, только поставив накрытую полотенцем лампу на пол. Потом я, выдохнув, миную простенок. Следующая пара окон. В первой комнате идет собрание, в нее набилось человек тридцать маленьких вьетнамцев, сидя и стоя, они с поразительной, с чудовищной серьезностью слушают своего лидера, докладывающего по бумажке последнюю сводку медленного, но верного продвижения к Сайгону... Из второй комнаты вдруг высовываются четыре руки. Раз — и Лиза уже там. Потом эти руки втаскивают Вику. И рама захлопывается. Я стучу в стекло каблуками Викиных туфель. Высовывается соотечественник с остекленным взглядом. Оглядывается на штору: «Тут еще один...» — «Один или одна?» — «Один». — «На хуй!» — отвечают ему из-за шторы. Прежде чем уйти, я оставляю в нише пару лаковых туфель, деформированных ступнями случайной знакомой. Руки теперь свободны перед испытанием, которое приближается: угол. Грань стены.

Я стою впритирку к отсыревшей облицовке. За черной вертикалью глаза проваливаются в пустоту ночи — с грузно чернеющим за дорогой зданием физического факультета, с парком за решеткой, с дальним излучением невидимой отсюда станции метро «Университет». Сквозняк глубины вползает снизу мне в штаны, сводит мускулы ног. Оттуда, снизу, обозначая предел падения, доносится перезвон молочных бутылок в ящиках из толстой проволоки. Еле слышно матерясь, грузчики разгружа-

ют продуктовый фургон. Там, на дне. Стены оттуда взмывают в ночь, переглядываются сотнями, тысячами окон, созерцают меня с безразличием. С высотным. С небоскребным таким, *московским*... Впившись ногтями в швы окаменелого раствора, я запрокидываю голову. Пятиконечная звезда в лавровом венке освещена прожекторами. Шпиль вбивает ее в ночь. Эту эмблему заданного миропорядка. Вечного триумфа надо мной. *Alma Mater!* Аминь.

Сердце пульсирует под ногтями, отталкивая пальцы от спасительно-шершавых бороздок между плитами. Пусть отталкивает. Пусть столкнет, плевать. Жизнь под этой звездой только форма небытия. Так не все ли равно? Я свое отгулял. Все случилось. Все произошло. Кроме смерти. Подари же себе и ее. Оттолкни эту стену, которую не прошибить. Горделивым толчком! Все сбылось. Повторяя ритуальную фразу, оживаю всем телом над бездной. Сила есть для толчка. Чтоб отвергнуть, отринуть эту плоскую грудь. Это вымя — без сосцов. Этот камень. Гуд бай! Но в последний момент — слабый пульсик вопроса: «А любовь?»

Да, ты прав. Все случилось. Лишь только любви не сбылось.

Правая рука поползла за грань.

Я последовал. Плоскость свернула мне челюсть, а потом острие вертикали рассекло меня надвое — от подбородка до паха. Но одна половина была уже на свету. И я потянул за ней левую ногу — из тьмы.

Снизу крик:

— Эй, смотрите! Лунатик!

— Умоляю, заткнитесь! Не будите его!..

Это женщина.

Это любовь.

Я иду...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: РОБКИЕ УБИЙЦЫ

К себе я вернулся в первом часу ночи. Дверь оказалась запертой изнутри. На полоске скоча болтался лист моей бумаги, на которой Цыппо написал: «DO NOT DISTURB».

Я вышел в холл. Перед лифтовым отсеком в сумрак был задвинут старый диван. Я сел и привалился к обшарпанному молескину. Полная тишина стояла на этаже. Рождался понедельник...

Хлопнула дверь, и я очнулся.

Из моего коридора выбежала однокурсница Распопова (английское отделение). Опрометью пронеслась она мимо меня к лифтам, с ходу вlepила кнопку вызова и заревела, припав к стене. Полушария ягодич расpirали на ней мини-юбку. Она была выше моего соседа на полголовой и вдвое шире. Могучая девушка. Ей бы ядро толкать. Как девочка рыдала она в стену, красноречиво расставив ноги и приподняв пятку над летней босоножкой.

Я раздумал ее окликать. Я остался в тени. Под шум мотора, спускавшего ее вниз, я принял решение элиминировать Цыппо. Купить в аптечном киоске пару резиновых перчаток и дожидаться, когда он урежется до потери сознания. Алиби мне обеспечит Бутков, с которым завтра же обговорить...

В комнате я распахнул раму над своей жертвой и уснул под блаженный ее храп. Это будет идеальное убийство...

*

Мне снилось, что я в душегубке. Задыхаясь, я сорвал с себя бабушкин крестик — и проснулся. Сжимая обрывки цепочки, с разинутым спекшимся ртом. Удушье оказалось реальным. Я вскочил. Цыппо, замерзши, закрыл над собой окно. Поставив колени на его кровать, я с грохотом раскупорил комнату и, как рыба, стал глотать кислород. Голова закружилась, но ужас прошел. Что-то дрогнуло в неподвижности неба. Сейчас сорвется... подумалось мне. Но это была не звезда. Спутник-шпион прожигал эту ночь. Околев, я вернулся в постель. Я укрылся с головой. Озноб колотил меня. Отогревая меж бедер ладони, я слышал, как постукивают мои зубы. Вдруг — обгоняя сознание — тело рванулось из комнаты.

Меня вырвало в засранный унитаз. Приоткрыв глаза, я схватился за кафель стены и покрылся потом. Рвало меня *черным*! Унитаз был наполнен *нечеловеческой* чернотой. Я привалился к стене. Господи! Что со мной?

Вместо ответа я почувствовал, что мой сфинктер — стиснутое

кольцо мышц — просачивается. Орлом я вскочил на затоптанный унитаз, и меня пробрал понос. Я посмотрел между ног. Он был такой же: черный. Яйца мои спрессовались от ужаса, а член превратился в отросток младенца. Я спрыгнул на пол. Я не успел поймать цепочку сливного бачка: меня согнуло. И вырвало фонтаном. С такой силой, что я забрызгал кафель до уровня своих плечей. Следы брызг были бурыми. Из душевой я принес полиэтиленовый тазик, в котором стирал свое белье. На тряпки я решил пустить свой старый махровый халат. Пытаясь оторвать от него рукав, я изошел холодным потом прежде чем осознал, что сил у меня нет. Я вымыл сортир. Потом стал под душ. Я очнулся, обнаружив себя сидящим на плиточном полу душевой. Никогда еще в жизни я не терял сознания.

Я вернулся в комнату. Влез на стул, раскрыл дверцы шкафа и потащил с верхней полки свой баул. Я не удержал его. Я отлетел на диван. Баул упал на пол. Стул упал тоже. За секретером проснулся Цыппо.

— Ты чего это, Спесивцев?

— Пардон.

Пятна оплывали у меня в глазах.

— Обратно мысль осенила?

Я молчал.

— В государстве, — сказал Цыппо, — есть мысли правильные, мысли неправильные, а еще есть мысли, подлежащие искоренению... Кто это сказал?

— Платон.

— Нет, не он. Геббельс! Уверен ли ты, что твоя ночная мысль правильная?

— Нет.

— Глуп, но честен. Что ж, валяй! Пиши. Платон был тоже прав: гнать вас, писака, из государства идеалов! Ну да ладно. Сегодня Виктор Иванович добрый.

— Виктор Иваныч, — повторил я.

— Ну?

— Со мной чего-то не то.

— В смысле?

— Паршиво как-то.

— Это совесть, дорогой товарищ. Утром признаешься Виктору Иванычу. Явка с повинной в обычные часы приема... — Хотнув, он тут же захрапел.

Отлежавшись, я сел. Я надел штаны. В бауле были мои рукописи. Оставив его на полу, я вышел.

Вернулся я вместе с Бутковым.

— Вот этот, — сказал я.

Он взял баул и вышел.

Я лег. Я поднялся. Вытошнил в унитаз, спустил. Я лежал. Дверь открылась, пришел Бутков. Он доложил:

— Кремировал.

— Где?

— В духовке. На кухне семнадцатого этажа.

— Все?

Он раскрыл баул. Перевернул и потряс.

— До последней страницы.

Я с облегчением откинулся, и он сделал шаг вперед.

— Золотого хронометра отписать вам, к сожалению, не могу.

Но вот вам, — протянул я ему крестик. — Связь доверия восстановите при помощи зубов. Мягкое. Высшей пробы. Наш общий друг...

— Да? — наклонился он.

— Новостей не было?

— Пока нет. Слушаю. Жду.

— Так, — сказал я. — Тогда можете вызывать...

— «Скорую»?

— Не катафалк же! — рассердился я.

*

Вчуже я удивлялся тому, как медленно уходит из меня жизнь. Отрицательных эмоций я уже не испытывал никаких, иначе, пожалуй, впал бы даже в нетерпение. Потому что «скорая», которую вызвал Бутков, пришла только через три часа. В лифте я стоял, завернутый в одеяло, обнимая двух медсестер. Студенты смотрели на меня так, будто увозили меня в крематорий. Когда меня устраивали на носилки внутри «скорой», перед лицом долго маячило круглое колено, обтянутое нейлоновым чулком. Посреди колена нейлон лопнул, выдавливалась кожа. Я ее поцеловал, эту кожу. Я испытывал благодарность ко всему. Хлопнули дверцы, и меня стало укачивать, как в колыбели. За стеклом плыло низкое белое небо, взятое в сеть проводов. Трамвайных, троллейбусных, телефонных и неведомых. Небо Москвы.

Возили меня долго под этим небом, все больницы были уже переполнены, пока в какой-то очередной сестра, поцелованная в коленку, не уперлась:

«В другую не повезем».

«Это почему?»

«Потому что не довезем, вот почему!»

В приемном покое меня положили на кушетку. Потом перевернули на живот, и я услышал бас:

«Расслабь ягодицы!»

Я расслабил, и почувствовал, как мне воткнули что-то в анус. Это был обрезиненный указательный палец, принадлежащий дежурному врачу, огромному еврею с бородой, как у отца Франца Кафки. Врач стащил перчатку:

«Кровотечение. Желудочное. Ты меня слышишь?»

«Слышу», — сказал я.

«Тебя в живот накануне не били?»

«Нет».

«А давно это началось?»

«Ночью».

«Когда именно?»

«Часа в три».

«А почему ты еще живой? Человек, это всего лишь пять литров крови. Известно тебе?.. — На месте бедного Франца Кафки я бы тут же умер от стыда. — В Первую хирургию его, да быстро!»

Небо, под которым меня несли на носилках две сестры милосердия, было разорвано кронами тополей. Листва еще была зеленой, но каждый отдельно взятый лист был уже обведен подгнившей каймой. На ходу сестры перехватывали поудобней ручки носилок, и последнее, что я испытывал, глядя на загнивающее лето, был несильный стыд за свою тяжесть. Потом и стыд, и кроткая печаль, что вот и кончается путь мой на этой земле, — все это испарилось, как в детстве выдох на холодное стекло. Я услышал в изножьи голос сестры:

«Слышь? Кажись, он нас с тобой обогнал...»

Та, что держала ручки изголовья, поставила их на что-то, и передо мной возникло грубоватое девичье лицо:

«Может, и успеем еще. Зрачки у него живые».

«Жалко все ж таки. Чего-то мне, знаешь, молодых всегда жалко, а вот старперов никогда. Погнажи?»

«Обожди: камешек в туфлю попал... Старые, — они снова по-ташили меня, — старые, те свое взяли. Чего ж их и жалеть? Только жизнь молодым заедают. Да передохни они все, по-моему! Вздохнули б посвободней. Нет, скажешь?»

«Что точно, — отозвался голос, отчетливый и столь далекий, словно принадлежал Богу... — Меньше народу — больше кислорода!»

*

Не знаю, где я витал, но вернулся я только на закате. Это был шемяще грустный московский закат, отраженный прямоугольником зеркала над раковиной.

Я скосил глаза. На сиденьи стула обложкой кверху лежал затрепанный роман Эриха Мариа Ремарка «Жизнь взаймы». Поржавелые зажимы держали в воздухе опрокинутую бутылку с кровью. К стеклу был прилеплен ярлычок с именем донорши, выписанным послюнявленным химическим грифелем: «СОСИ-НА ЗОЯ». На горлышко бутылки была натянута резиновая трубка, трубка кончалась полным крови стеклянным шприцем, игла которого была приклеена двумя полосками лейкопластыря к разгибумоего локтя. Скульптурно-белой была моя рука, и в позе ее было нечто нищенское, но одновременно и по-царски щедрое.

— Рука зябнет, — сообщил я вернувшейся медсестре, тоненькой такой лет тридцати с выражением забитости на лице, обрамленном жалкими желтыми кудряшками.

— Так и надо. Больше ничего не чувствуете?

Я закрыл глаза. Внутри меня было пусто, только справа вдали мерзла рука.

— Ничего, — сказал я. — А что это так лязгает, сестричка?

— Лязгает? А! Сосед ваш манку кушает.

Старческий голос раздраженно закричал:

— Лязгаю, да! И что? Привык есть быстро, по-солдатски. Нам некогда было рассиживаться, мы мировую революцию делали! А вы, сестра, русского языка не знаете! *Ест*, а не кушает. *Ест!* Твердо и жестко. Без сюсюканья.

— Какое уж тут сюсюканье, Лев Ильич, — кротко возразила медсестра. — Мальчик больше двух литров крови потерял.

— Не на войне же! — огрызнулся голос. — Сам виноват.

И снова залязгала алюминиевая ложка, часто, алчно. Невесело было в этом мире, и я снова отлетел.

*

...я открыл глаза и зажмурился: из зеркала било солнце. Сестра передо мной сидела новая. Немолодая и неряшливая. Бедра распирали грязноватый халат, чулки на ней были коричневые, хлопчатобумажные, самые дешевые. Она мне понравилась. Она была рыжей, и вокруг озабоченных зеленых глаз на красноватом пористом лице имела смешливые морщинки. Спирт, наверное, пьет, решил я и закатил глаза на бутылку. Бутылка снова была полна, но фамилия на этот раз была татарская. Я сказал:

— Новая.

— Ага! Эту тебе с распределителя прислали, — мгновенно оживилась рыжая неряха. — А вчера, слышь, у них твоей группы не было, так Сосина Зойка с терапии тебе свою дала. Спасла тебя, считай. Ох, девка хор-рошая! Просто огонь. Глаз на тебя положила, понял? Ну, как ты, оклемался?

— Оклемался.

— Болит где, нет?

— Нет. Я вообще ничего не ощущаю.

— Ты и не должен. Ты же замороженный пока. Грелка с ледом у тебя на животе, не ощущаешь?

— Со льдом? Парадоксально...

— Чи-иво?

— Грелка — и со льдом, — пояснил я. — Смешно.

— Юморист ты, как я погляжу. Я таковских страсть как люблю! Ты мне потом анекдоты порассказываешь, лады?

Дверь палаты распахнулась, и ее как ветром сдуло. Подобрал полы халата, передо мной плотно уселся дюжий главврач. Его широкое крепкое лицо лоснилось синевой выбритости.

— Воскрес, христосик? — спросил он приятным баритоном, обнажая меня до золотистого моего паха перед целой свитой студентов.

— Так больно?

— Нет.

— А так?

— Нет.

— Рзморозишься, еще будет больно, — утешил он меня. — Омнопон ему на ночь. Иглы не боишься?

— Нет.

— А ножа?

— Нет. Меня будут оперировать?

— Надо бы, да жалко, — пошлепал он по бесчувственному моему животу, — красоту твою портить. Будем посмотреть. Воскресай пока дальше, студент. — И, обдав меня теплом своих синих глаз, исчез.

В поле зрения переминалось стадо крепких ног, облитых нейлоном. Колени, ляжки. Ноги терлись друг о дружку, издавая из-под белых подолов легкий нейлоновый шорох. Я закрыл глаза и почувствовал, как ожило у меня в паху. Эрекции не было, но что-то там сладостно пробежало, и я испытал потребность сглотнуть. Но слюны не было. Мне нельзя было пить, можно было только подавать просьбы, чтобы смоченной ваткой мазнули по губам.

*

Воскресал я медленно, но, благодаря юному своему организму, необратимо. Из палаты обреченных, где через неделю умер от неоперабельного рака ветеран мировой революции Лев Ильич, меня откатали к тяжелым операбельным, но до операционного стола дело не дошло, и я отбыл в палату ходячих. На следующий день в эту же палату поместили, бывают же совпадения, замдекана по хозяйственной части с моего факультета, того самого отставного полковника, который отказал отселить меня от соседа-стукача. Замдекана не узнал меня, а я не стал напоминать. Тем более, что через неделю его укатали туда, откуда привезли меня: у старикана, шепнула мне рыжая сестра, выпивоха и любительница похохотать, был рак печени. Не судьба.

Я крепко подружился с соседом. Ему было под 60, из московских армян, интеллигентнейший человек с трагическим взглядом живых черных глаз. У него была парализована вся нижняя часть тела, и я помогал ему добираться на костылях до сортира, этого Гайд-парка нашего хирургического отделения. Мы здесь были единственными гуманистами, все прочие, рабочий класс, были из одной сплоченной партии свирепых антисоветчиков и антикоммунистов. Чем застарелей была болезнь, тем реак-

ционней высказывался хроник, не останавливаясь и перед пропагандой терроризма против пациентов закрытых больниц, вплоть до Кремлевки. По ночам эта мрачная публика склоняла головы к транзистору, который принадлежал одному слесарю, собственноручно усовершенствованному свой приемник так, что Радио Свобода из Мюнхена орало на весь сортир. Тяжелобольные становились еще мрачней: слишком беззубой была ихняя «Либерти». Отслушав новости, приемник выключали и, сядя одна за одной «Приму», «Памир», «Беломор», а то и «Север», эти верные «гвозди в гроб курильщика», вели свое толковище о судьбах страны и мира, погружаясь в пучины черного мазохистского наслаждения. Здесь, в процедурной перед сортиром, был островок подлинной воли. Здесь ничего не боялись. Стукачей среди замученных хроников не было. Среди ночи появлялась протрезвевшая дежурная и разгоняла всех, кроме того, кому была назначена водяная клизма. Мы с параликом-армянином ковлялись обратно в палату, где, сложив свои костыли, он возвращался к собственной трагедии.

Он был главный инженер на засекреченном военном заводе: партбилет, оклад, квартира, служебная машина. Взрыв лишил его всего этого, а вдобавок и здоровья. И это жаль, конечно. Но, с другой стороны, катастрофа избавила его и от чар коммунизма, а то бы так и прожил, извините, Алеша, мудаком. Родной его брат, — у него в Париже собственная клиника, он профессор, светило нейрохирургии, — вот уже десятый год добивается, чтобы отпустили его, паралика. Безуспешно...

К концу сентября листва тополей за окнами пожелтела. Рентген выявил у меня раннюю язву желудка в рубцующейся стадии, и меня из хирургии перевели в соседний корпус — терапевтический.

Здесь, на усиленном питании (раз в день мне давали куриную ножку), я стал выздоравливать настолько бурно, что не прошло и недели, как одной прекрасной ночью, на той же жесткой кушетке в процедурной, где днем я получал свой внутривенный укол витамина В-1 и глюкозы, передо мной поднялись и разошлись широко в стороны колени моей донорши Зои Сосиной, огонь которой объяснялся тем, что по матери была она молдаванка.

Но Зоя дежурила через две ночи на третью, так что, расставая со мной, она сообщила, что сменная медсестра, надмен-

ная Мирра Лифшиц, только что развелась, кстати, — очень и очень тобой интересовалась. Дождливой ночью, в кабинете заведующей отделением. на столе, накрытом холодным стеклом, я ответил взаимностью Мирре, после чего на третью ночь молчаливая татарка Фатима разбудила меня, накормила на кухне и увела в ванную.

Я стал первым любовником отделения. Это была во всех отношениях приятная жизнь. Под матрасом у меня завелся склад дефицитных венгерских транквилизаторов и снотворных. Они мне были показаны, потому что, как выяснилось, язва моя возникла на нервной почве, но сестры подносили мне их просто в товарных количествах. От этих таблеток я безмятежно спал целыми днями — с перерывами на прием пищи. Впрочем, свои куриные ножки я стал отдавать соседям по палате: сестры теперь кормили меня по ночам блюдами домашнего приготовления, терпеливо дожидаясь, когда я промокну рот салфеткой.

Однажды заведующая отделением, очень суровая дама, вывела меня из наркотического транса и пригласила в свой, уже знакомый мне, кабинет.

— Товарищ Спесивцев, знаете ли вы, — спросила она, — сколько стоила государству перелитая вам кровь?

— Не знаю.

— Семьсот рублей! Новыми.

— А вы знаете, Наталья Аркадьевна, сколько стоит народу, — вспомнил я передачи Радио «Свобода», — последний советский бомбардировщик?

Она побарабанила пальцами по настольному стеклу. — Политика меня не интересует, хотя я и должна вам заметить...

— Да нет, это я к слову, — перебил я. — Я тоже, знаете ли, аполитичен.

— Аполитизм, между прочим, тоже политика.

— Будем надеяться, — сказал я.

— Ну, а что меня интересует самым непосредственным образом, это мое отделение. Вы представляете в этом смысле для меня угрозу. Скажите, а почему это вы все время спите днем?

— Осенняя сонливость. Не могу противостоять.

— Ладно, Алексей! Поговорим всерьез. Мне прекрасно известно о вашей ночной активности. С одной стороны, это свидетельствует о том, что практически вы встали на ноги. Да, это фактор позитивный. Я, знаете ли, не ваша мать, чтобы давать все-

му этому оценку в плане, так сказать, нашей морали. Да и вообще я в этом смысле, скорее, терпима. В силу, быть может, профессии. Хотите французскую сигарету?

Она вынула из ящика стола голубую пачку «Голуаз»¹ов и придвинула мне по стеклу.

— Делегация у меня тут была, — сказала она, вынимая из сумочки «Яву».

Я перегнулся и поднес ей спичку.

— Спасибо. Дело в том, что жалуются больные на невнимание со стороны ночных сестер. Например, диабет один в тяжелой форме дозвонился до Зои только через полчаса. А этого я, при всей своей терпимости, допустить не могу. Выписать вас, что ли?

— Выпишите.

— Рановато. Еще бы вам пару недель полежать. Давайте найдем компромиссное решение. Вплоть до выписки вы наравне с моими девочками несете ответственность за состояние больных. Включая, если понадобится, транспортировку и реанимацию. Устраивает вас должность ночного медбрата?

— Вполне.

— Ну, и отлично! А бородка вам, кстати, идет. Я всегда себе так Раскольникову представляла...

Я потупился. Глядя на зеленоватый срез настольного стекла, я увидел себя эжюлирующим на него. Акт не вполне традиционный для канонического студента с топором под полой. Наталья Аркадьевна двинула по стеклу голубенькую пачку:

— Возьмите «голуазы», Алеша, я их все равно не курю. И еще одно... — Она выдвинула ящик стола, взяла что-то и, уже в дверях, неловко как-то сунула в отвисающий карман моей больничной куртки. И руку перехватила: — Потом посмотрите... А то, не дай Бог, все три мои грации попросятся в декретный отпуск!

Чтобы этого не допустить, я был наделен презервативами, причем не коварными отечественными, а из Индии, где с рождаемостью борются всерьез. Наталья Аркадьевна, как человек предыдущего поколения, недооценивала искушенности своего персонала; и я с удовольствием уступил дефицитные презервативы соседу по палате, многодетному язвеннику, — за книжку Карла Ясперса «Куда идет Западная Германия?» — не самый значительный, но единственный из переведенных в этой стране трудов близкого мне мыслителя.

Мне было хорошо в больнице. Нигде еще мне не было так хорошо, как здесь. Это была та самая «лазейка» в тоталитарной массовидности бытия, о которой говорил Ясперс. Спрятавшись в нее, я чувствовал себя надежно защищенным.

Иногда ко мне приходил Бутков, и на черной лестнице я выступал вразрез с курсом популярного журнала «Здоровье»:

— Болезнь... Знакомо ли тебе это благо?

— Откуда? Я же сибиряк, — удрученно потуплялся визитер.

— Неужели ты в жизни ничем не болел?

— Не доводилось.

— В больном обществе быть здоровым глупо.

— А что я могу? С детства на тридцатиградусном морозе в мяч гонял. Против воли закалился. — Он вздыхал. — Сибирь... На нашей закалке эта система и выезжает. Мы ведь и Сталина спасли, когда немцев от Москвы попятити.

— А ты подлежишь призыву?

— Естественно. Если зимнюю сессию не сдам, весной забреют.

— Тогда как меня, Бутков, уже нет. Не в «мирное», по крайней мере, время. Отныне я — «боец ограниченной годности». Только ради этого стоит впасть в болезнь. Идеологическую повинность тоже не обязан отрабатывать. «Почему на комсомольском собрании не был?» — «Болен был». Здоровые проголосовали единогласно, а ты — уклонился. На легальном основании. Болезнь, это в общем та же эмиграция. С тем плюсом, что порываешь с системой в пределах государственных границ. Наш общий друг рванул на Запад, а мы, больные, эмигрируем в свой недуг. Оставаясь при этом на своей собственной земле. Со своим языком. Вам, сибирякам, хорошо. Вы генетически запрограммированы на выживание под сверхдавлением. Нам же, европейцам России, ничего, кроме болезни, не остается. Все мы тут с гнильцой. Здоровы лишь «слуги народа». Только они благополучно доживают до старческого маразма. За пуленепробиваемыми стеклами... Ты не ерзай: микрофонов тут нет. Больница, Бутков, не общежитие МГУ. Больному свобода слова ничем не грозит.

Обычно мы с ним сидели на самой последней ступеньке, под запертой чердачной дверью, и, докурив, стреляли окурками вниз

по лестничному маршу. После того как я завершал очередную апологию болезни, Бутков информировал меня о мире здоровых, чем лишний раз подтверждал мою *органическую* правоту.

*

Однажды Бутков явился не то, чтобы мрачнее, чем всегда, но с каким-то нехорошим — расфокусированным — взглядом. Он принес слух о том, что администрация намерена воспользоваться первой же сессией для чистки курса. Будто бы уже заготовлен черный список на исключение: Гольденберг, Айзенштадт, Эпштейн, Ройтман... в общем, все евреи, которых не сумели провалить на вступительных экзаменах. Но возглавляет список — и это уже не по слухам — некто Журавлев. Этакий Байрон, помнишь? Еще и хромает? Помню прекрасно. Он мне еще присоединяться предлагал. Не уточняя, правда, к какой именно организации.

— Не к организации. К редколлегии, — с авторитетной скорбью сказал Бутков. — На факультете затевался журнал.

— Какой журнал?

— Известно какой: самиздатский. Под названием «Феникс». В трех экземплярах должен был выйти. Но твой сосед Цыппо, — добавил Бутков, — нас опередил.

— То есть как?..

— А так. Взял и выкрал редакционный портфель.

— Как, то есть, «нас»? Ты что, тоже был в числе авторов?

От окурка Бутков прикурил следующую сигарету.

— Как автор я был представлен только одним эссе.

— О чем?

— Под заголовком «Сеть доверия». Я тебе говорил когда-то... Там есть довольно острые моменты, но беда не в этом. Я был ответственным секретарем «Феникса».

Я хлопнул Буткова по плечу, где и оставил свою руку. Мы сидели и курили. На лестничной площадке абортария — тремя этажами ниже — бывалые женщины утешали рыдающую неофитку, повторяя, что «не так страшен черт, как его малюют» и «лиха беда начало». Бутков нагнул свою вихрастую голову и снял с себя золотую цепочку с моим крестиком.

— Бери обратно, раз воскрес, — сказал он. — А то еще забе-

рут меня... Как бы не пропал. Ты, Алеша, как вообще себя чувствуешь?

Я спрятал свой крест под несвежей больничной рубашкой.

— В каком смысле?

— Физически.

— Нормально чувствую.

— Паршивая новость, Алеша. Но я обязан поставить тебя в известность...

Дрожащими пальцами он прикурил новую сигарету.

— Ставь, раз обязан.

— Просто не знаю, как быть. Тебе ведь негативные эмоции противопоказаны.

— Я, Бутков, накачан транквилизаторами так, что эмоций не испытываю даже, когда мне хуй сосут в процедурной. Не тяни.

Он прерывисто вздохнул.

— В редакционном портфеле был и твой материал.

Я убрал руку с его плеча.

— Мой?

Он уронил голову. — Глава из твоего романа. Первая. Там где у тебя про Петербург. Я ее знаешь как назвал? «Санкт-Петербург, СССР». Помнишь, у Шервуда Андерсона? «Уайнсбург, Огайо»?..

— Постой-постой... Но ты же сжег все мои рукописи, не так ли? В духовке? Когда я доходил?

— Я не смог.

— ...Когда я кровью исходил! Своей собственной! Два литра! Первой группы «А»! На семьсот рублей я спустил ее в сраный унитаз, и ты сказал, что сжег все до последнего листочка!..

— Я думал, ты не выживешь. Я для потомства хотел. Для истории...

Он был настолько нелеп, что я расхохотался. Маленький вихрастый штангист. Штангу свободы попытался выжать. Я сел на ступеньку, зажал руками виски и досмеялся. Все же был я еще слаб. Под больничным своим тряпьем я взмок от пота.

— Потому что, — добавил Бутков нагледя, — *рукописи не горят.*

— Еще как горят. Вечным огнем! В аннигиляционных печах КГБ.

— Думаешь? — усомнился он. — Они их все-таки, наверное, хранят. Русская литература все же.

— Ага, хранят! — Я сплюнул. — Этой литературы они у русских столько наотнимали за пятьдесят лет, что захлебнулись бы хранить.

— Почему тогда у них на «делах» ставят гриф «хранить вечно»?

— Откуда ты знаешь?

— Журавлев говорил.

— «Хранить вечно» — другая форма аннигиляции. — От мысли, что на меня завели вечное «дело», куда подшили первую главу романа, мне стало нехорошо. Метафизически дурно. — Дай мне сигарету, Бутков.

Он услужливо чиркнул спичкой.

— Ты, Алеша, талант... (Насмешливо взглянув на него, я прикурил.) По мнению нашей редколлегии, одной той главы достаточно было, чтобы оправдать твое существование. Мы ведь тебя, прости, похоронили. Знаешь, какой ты был в ту ночь? Как с креста снятый. Кто мог подумать, что ты воскреснешь?..

— А что мне оставалось делать? На ваш «Феникс» надеяться? Который в яйце раздавили? Как-нибудь сам теперь постараюсь оправдать свое существование. В одиночку.

— Ты оправдаешь, я уверен! Подумаешь, беда — из МГУ отчислят. Все равно тебе в армию не идти. Отдашься всецелю письму. Ты обязательно пробьешься. С твоим талантом!..

— Заткнись, — прервал я.

— Прости.

— Так и быть! — сказал я. — Если сбегаешь за угол.

Он с готовностью вскочил, но запнулся:

— А тебе... п-показано?

Я выразительно промолчал. Ангелообразно надувая полы посетительского халата, Бутков полетел вниз, но за поворотом перил резко тормознул и подал мне снизу мятый авиаконверт:

— Совсем забыл. Тебе!..

Это было от Дины. Под сбегающее эхо его подметок я вскрыл конверт. Читать было темно. Сидя на ступеньке, я докурил сигарету. Отныне я был, как у *них* говорится, — «под колпаком». Не хотелось мне этого, видит Бог. Но теперь ничего уже тут не поделать. Возраст. Это возраст: медленно и необратимо проявляется неповторимый твой облик. Сугубно интимных особых примет дольше не скрыть: становятся явными. И если, милый друг, ты всерьез решил на писательство, то оставайся хладно-

кровным, даже сойдясь однажды лицом к лицу со своим «фото-роботом» на розыскной полицейской доске — среди прочих особо опасных. Wanted!.. Что ж, поднялся я. Чему быть — того не миновать.

Палата язвенников встретила привычным гулом.

— Где был, Лексей?

— На черной лестнице опять? Кому вдувал?

— О, он с письмом! От девушки, небось?

— А мы-то думали, он у нас только в радиусе больницы! А он у нас — понял? Во всесоюзном масштабе!..

И даже одноногий ветеран испанской, финской и Великой Отечественной пристукнул костылём:

— Еб-бическая сила! Эх, где мои семнадцать лет?!.

Склад наркотиков был у меня под матрасом. Я отогнул край, взял полоски фольги с запечатанными таблетками и вышел из палаты. Коридор был забит больными с малым стажем пребывания, но со стороны окон еще имелись свободные места. Процедура сестра задела меня бедром:

— Чего невеселый? Идем, укольчик сделаю!..

Я присел на подоконник.

Дождь, томивший с утра, усиливался. Стекло змеилось, оползая сверкающими струйками. Внизу раскачивался жестяной колпак фонаря, и в лужах мокла палая листва. Был последний день октября: подступала, как пророчески выразился Пушкин, довольно гнусная пора...

Я вынул авиаконверт.

*

«Подпольская область,
Бездненский район,
п/о «Новая Жизнь»,
дер. Райки,
уборочная бригада «Город—селу»,
Державиной Д.А.

Алешенька! Далекый мой, мой близкий — здравствуй! Тебя удивил этот варварский адрес на конверте? Дело в том, что с нашего завода, да и с других тоже, весь пролетариат загнали к черту на кулички — картошку убирать. С которой у них завал. Как и

вообще с сельским хозяйством. Я хотела отвертеться и махнуть к тебе в Москву, но не удалось. Не дали справку о болезни, сволочи. Ты, девонька, врачаха мне говорит, здорова, как телка. Не в этом дело, говорю я. У меня психический кризис (со мной, Алеша, действительно, случилась жуткая история). Для кризисов, говорит эта сука, нет лучше средств, чем трудотерапия на свежем воздухе. Так что вместо Москвы — скажи, разочарованка? — вот уже неделю гну спину в колхозе «Новая Жизнь», самом отсталом из всех колхозов Бездненского района. Причем, нашей бригаде особенно не повезло: нас распределили в самую паршивую из деревень этого колхоза. Называется Райки, но люди тут мучаются, как в аду. И мы тепер с ними заодно. Алеша, ты себе просто не можешь этого представить! В «Программе КПСС» написано, что при коммунизме будет преодолен разрыв между городом и деревней. Этого не будет никогда! Потому что это не разрыв — пропасть. Небо и земля. Магазин в центральной усадьбе, десять километров лесом. В магазине хлеб, водка, консервы, которыми можно отравиться, а также — за чем-то белый спальный гарнитур из ГДР, на который все плюют (буквально). Потому что очень дорогой. Кстати, есть книги, и очень хорошие. Я купила «Бесплодную землю» Т.С.Элиота, «Слова» Сартра и «Очень легкую смерть» Симоны де Бовуар (она, оказывается, его соратница. Ты знал об этом? Конечно, ты все знаешь, потому и поступил в МГУ, а я провалилась, как дура). Сигарет нет. Курю мужицкие папиросы «Север». Телефона в усадьбе нет, но зато там хоть электричество, здесь же в Райках освещаются керосиновыми лампами (при свете нее я и пишу сейчас). Радио нет. Изоляция от мира полная. После работы единственное развлечение у девочек — играть в дурака. В компании с олигофреном Вовой. Вова — это деревенский дурачок, и он же — первый парень на деревне, откуда все, кто поумнее, сбежали в город. Вова очень пытается завязать с нами интимные отношения, предлагая, как говорится, открытым текстом. Мы все его слегка побаиваемся, особенно после того, как одна наша застала его с хозяйской козой (кошмар, да?). Сейчас пришел хозяин, нагнав бутыль самогону, и предлагает нам от простуды. Выпить, что ли? Страшновато. Мутное нечто. Еще ослепну. Ладно, была не была. За нашу встречу, дорогой! Никогда не забуду те замечательные слова американской писательницы Флэннери О'Коннор, которые ты мне сказал тогда, под

шпилем МГУ: все, что стремится к вершине, должно сойтись. Алеша, Алёшенька, я тебя так люблю, ангел мой, что, кажется, сейчас брошу все и улечу к тебе. Была бы я ведьмой, как булгаковская Маргарита, я бы уже обнимала тебя. Делаю это мысленно.

...Мой милый, мне стыдно за эту ерунду, которую я вчера тебе написала. Самогон мне не помог. Я, правда, не ослепла, но еле поднялась сегодня на работу. Прости, что письмо в грязи, но кончаю я на картофельном поле. Сейчас шофер повезет мешки в усадьбу — и мое письмо заодно. Я чувствую себя страшно грязной. И не только физически. Да так оно и есть. Трудно не запачкаться в этом грязном мире. Но я тебя люблю. Очень. Я очень хочу с тобой встретиться. Может, на Ноябрьские прилечу. Если ты, конечно, этого хочешь. До свиданья, любовь моя!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: ПЕРВЫЙ СНЕГ

За чертой Подпольска водитель выключил из экономии свет, и темнота в автобусе слилась с законной ночью. Я закрыл глаза. Я был полностью обессилен после своего спонтанного порыва, и это было так приятно — втягиваться все глубже в огромную воронку тьмы. Уже и в Москве было темно, когда ко мне в больницу вернулся Бутков, вымокший до нитки и с бутылкой виски. Но планы мои на этот вечер резко изменились, и пришлось ему обратно выбегать на дождь. За такси. Тем временем Зоя Сосина, только что заступившая на смену, спасла меня еще раз, одолжив свою «болонью» со словами из популярной песенки: «Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу!..» Перелезая под дождем скользкую кирпичную стену, я оставил на территории Первой градской больницы разношенный шлепанец. Спрыгнул и потерял другой. Так и побежал к затормозившей машине босиком по холодным лужам. На заднем сиденье «Волги» Бутков свинтил крышечку, и мы согрелись виски. Алкоголь отдавал дубовым привкусом. Частник (это было не такси) за четвертную был готов на все. Сначала мы рванули к Главному зда-

нию МГУ. Бутков боялся, что в общежитии его уже поджидают профессиональные литературоведы в штатском. Этого исключить было нельзя, и я пожал ему руку. Но через двадцать одну минуту Бутков вернулся на заднее сиденье «Волги»: видимо, «Дело» о нашей самиздатской попытке еще не дошло до той стадии, когда выписывают ордера на арест. Он принес мне мои сапоги и одежду. По пути в аэропорт Шереметьево-2, который обслуживает внутренние линии, я переоделся. Куртка у меня была непромокаемая, Бутков захватил для меня еще свой домовязанный свитер — так что с верхом было все в порядке. Но брюки пришлось надеть летние, белые: ничего не поделаешь, не сумел я подготовиться к смене сезона. Впрочем, не такие уж и белые они были. Я их еще до больницы изрядно затер. К тому же парусина, из которой были они сшиты Динкиным братом, убывшим уже, наверное, по месту исполнения священного долга, была намного прочнее джинсовой ткани. Той же машиной Бутков отбыл обратно в Москву — отвозить мое больничное тряпье, завязанное в «болонью», а я размахивал письмом перед билетной кассой и со слезами в голосе выкрикивал: «Войдите в положение, девушка! Любимая при смерти, вы понимаете? Л ю б и м а я ! » Я был, должно быть, убедителен. Уже через час я оторвался от взлетной полосы, набрал высоту и, втянув шасси, оставил за собой зону ливневых туч.

В Подпольске было холодно, но сухо. Как и в столице нашей Родины, здесь уже готовились к Ноябрьским торжествам. Я выскочил из такси на автобусном вокзале, взял билет на последний рейс в райцентр Бездна и еще успел в буфете запить таблетку ноксирона бутылкой пива, оправдывающего свое название «Бархатное».

Не вечер выдался, короче, а низвержение в Мальстрем.

В эту самую, по-русски выражаясь, Бездну, по пути в которую, будучи под надежной анестезией, я уснул и не проснулся даже, когда асфальт подо мной сменился булыжниками. Но постепенно тряска сменилась толчками, они усиливались, и наконец от удара в голову я открыл глаза. Было все еще темно, но цивилизация кончилась.

Началось бездорожье.

*

Дверцы сложились в гармошку, и я вывалился на немощную площадь. Смерзшаяся земля была в соломе и конском помете. Самоосвещалось во тьме беззвездной ночи только одно двухэтажное кирпичное здание, где было все — и «Универмаг», и партия, и комсомол, и милиция, и районный уполномоченный КГБ. Здание было в праздничном убранстве — и флаги, и «Слава КПСС», и выставленный в витрине магазина огромный портрет Генерального секретаря с добросовестно выписанными бровями. Жаль, иллюминацию еще не закончили.

— Залюбовался, парень? — окликнул меня шофер автобуса. — Дай огоньку.

Я дал ему прикурить и спросил, где тут можно заночевать, в этой Бездне.

— Лично у меня тут баба имеется, — сказал шофер, — но бабу ты навряд ли сейчас найдешь... Видишь вон окошки светятся? Отель под названием «Изба колхозника». Попробуй там, а нет — стучись в любую дверь.

Администраторша «Избы колхозника», полногрудая девушка с глазами, затуманенными чтением романа Г.Уэллса «Война миров», встрепенулась, заглянув в мой паспорт:

— Вы из Ленинграда?

— И из Москвы тоже.

— А, да, — нашла она мой последний милицейский штамп... — Ни ленинградцев, ни москвичей у нас никогда не было, и вдруг: нате вам! Гражданин обоих миров! Как прям с неба.

Да... пожал я плечами. Такой вот казус.

— Алексей Алексеевич... — прочитала девушка и вернула мне паспорт. — Вы по казенной надобности?

— По личной.

— Туристом? У нас ведь тут развлечений никаких. Летом еще куда ни шло, а об эту пору и совсем скучно.

— Видите ли... Простите, вас как зовут?

— Настасья Николаевна. Можно просто Нета.

— Не совсем я к вам, Нета, — сказал я. — Я транзитом. Колхоз «Новая жизнь». Есть у вас в районе такой?

— «Новая» или «Светлая»?

— А не один ли бес?

— Нет, у нас их два, — сказала Нета. — Когда из области приезжают, то всегда путают. Если вам в «Светлую», то постоялец

мой вас туда отвезет. На телеге. А если в «Новую»... Да вы не к городским ли девчатам, случайно?

— К ним.

— Не в Райки? — встревожилась еще больше Нета.

— Туда. А что?

— Ничего. — Она опустила глаза. — Туда завтра полуторка возвращаться будет.

— Вот и хорошо, — пробормотал я, прикрывая ладонью зевок.

— Спать хотите?

— Умираю, — признался я.

Ночлег тут стоил всего полтинник, но и того Нета с меня не взяла, отмахнувшись, и отвела не в горницу, за дверью которой бубнили что-то подпившие мужики, а в свой «кабинет» — в кладовку. Тут было матрасов под потолок, и стояла узкая и аккуратно застеленная койка. Я стащил на пол два матраса. Нета дала мне одеяло и, отвернувшись, перекусила нитку на комплекте чистого белья.

— Время еще детское, почитаю пойду, — сказала она. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я лег и натянул одеяло. Запах заповедного воздуха, о котором я давным-давно забыл в загазованных своих столицах, этот запах, исходящий от белья, опьянил меня.

Очнулся я от нежного прикосновения жестких пальцев. Почувствовав, что глаза мои открылись, рука отдернулась. Светлая туманность по имени Нета проступала надо мной.

— Полуторка вернулась? — спросил я.

— Спи, — успокоил меня шепот, дохнувший самогонным перегаром. — Когда вернется, разбужу. Он ее, наверное, в самый Подпольск повез, так что раньше утра не обернется.

— А зачем он ее туда повез?

— В больницу.

— Рожать?

— Родить, оно и на месте можно. Делов-то! Только в Райках этих давно уже не рожают. Некому. Демографический кризис, — важно сказала Нета. — Старухи одни.

— Умирать, значит, есть кому.

— Да старухи, они и не умирают что-то. Чувствуют, наверное, что нельзя. Все ведь на них стоит.

— Кого же он тогда повез?

— Да городскую, кого ж. — Нета вздохнула. — Забросили их к нам урожаем спасать, а их самих спасать приходится. Не выдерживают наших условий. Эта-то совсем девочка.

Удар пробил мою анестезию: Дина!..

— А что с ней? — спросил я, садясь, чтобы видеть лицо.

— А я знаю? С животом чего-то. Может, съела там чего-то, консерву вспученную, от мешков надорвалась... Аппендицит вроде. Да не дрожи ты, Москва-Ленинград! Может, и не твоя девчонка!

— Ты ее видела? Опиши!

— Да я мельком только! Прими руку, больно же... Девчонка как девчонка. Городская, ну! Против наших они все заморенные.

— Лицо какое? — тряс я ее. — Глаза?!

— Белое! Выпученные! Да пусти же ты меня, — сорвала она мои руки, — ненормальный!.. Лежи! — Она подмяла меня всей своей тяжестью и дышала перегаром. — Вы что, все там такие психованные?

Весила Нета добрый центнер, и я задохнулся от расплюснутых об меня жарких грудей.

— Ты меня раздавишь, — взмолился я. — Дай мне лучше воды.

— А может, самогону? Постоялец уже привез.

— Давай.

Вместе с самогоном я незаметно принял таблетку. Нета одним залпом допила мой стакан, обожглась, с шумом втянула воздух в необъятные свои легкие и стиснула меня в объятиях. Опрокинула на лопатки и стала насиловать поцелуем, после чего обиделась:

— Что ж ты лежишь, как христосик?

Я вздохнул. — Ты уж прости меня, Нета, но я не могу.

— Ах, не можешь?

— Нет.

— А это там что? Или, может, мне спяну мерещится?

— Да, — признал я, впервые в жизни чувствуя, как расщепляется само ядро моего существа... — Но люблю я другую.

— И люби! люби на здоровье. Я, может быть, тоже люблю одного. Только момент поймать, оно мне лично не мешает.

— А кого ты любишь?

— Да уж не уполномоченного КГБ! Фильм смотрел про Фан-

томоса? Вот его, Жан Марэ. Но у любви не убудет, она большая. Так что давай, лови момент!

Кто-то вместо меня опрокинул ее и разнял коленом.

— Ты погоди (придержала его Нета). Раз-два и в дамки — так со мной нельзя. Конечно, я большая, но я и маленькая. Там. Ты уж культурненько тогда, по-городскому...

Холодный пот струился меж лопаток, и Нета уже поймала свой момент, и не один, и раскинула вольготно руки, а тот, кто в силу своего одномерного устройства замещал меня, продолжал трудиться вхолостую, как перпетуум мобиле. Без отдачи. Без цели. Без мысли.

— Ну, будет, — остановила Нета этот процесс. — Чего ж изводиться понапрасну! Светает вот. — Она натянула мне на плечи одеяло. — Виновата я перед тобой. Ты уж меня прости.

Я поднял глаза — из сумрака уже явственно проступил черный крест оконного переплета.

— Нет в мире виноватых, — ответил я.

Подломился, упал лицом в подушку и зарыдал от того, что все у меня в жизни началось с измены.

*

Мы гнали по проселку так, что то и дело во мне сжимался страх: вдруг откроется недолеченная язва?

— К ебеней матери! — выкрикивал шофер, оскаливаясь в мою сторону. — Мать схороню, двери-окна забью, оболью избу самым лучшим бензином и — к еб-беней матери! Я ж в ГДР служил. Ты понимаешь, друг? В ГДР!

Принимал руку с «баранки», кулаком оттирал злую слезу. Шофер демобилизовался в мае, был старше меня года на три, ну на четыре, но рядом с ним в кабине грузовика я казался себе белолицым тепличным мальчиком. Не только на армию, этот парень с дубленным лицом и оскалом литых из металла зубов был старше меня на всю свою жизнь, прожитую не в Северной Венеции — в Бездненском районе.

У реки он тормознул. Грузовик въехал в грязь и замер, вхолостую тряся капотом. Шофер достал из-за пазухи бутылку местной «Московской», которую я купил в Бездне, чтобы расплатиться за доставку, энергично содрал зубами станиолеву проб-

ку. — Пей... Давай, студент! Как бабки говорят — за упокой души.

Как штыком разжимают рот «языку», не выдающему военную тайну, так я разжал свой рот горлышком бутылки. Вдохнул, задержал дыхание, и — ударил глотком по пищеводу. Вторым. Третьим. Как расплавленным свинцом залил себя натошак — и вернул бутылку. Страдальчески кривясь, хоть и был с виду железный, шофер размеренно задвигал адамовым яблоком, глотая зло местного производства. Потом мы спрыгнули в грязь. Он спустился к речке, а я, взявшись за изъеденные до трухи перила, оттер о нижнюю поперечину мостика подошвы своих шведских сапог. Шофер мучился над дымящейся водой. Мочил голову, пил, постанывая. Потом выбрался ко мне, облокотился. Закурил.

— Перитонит... это чего?

— Воспаление брюшины.

— Часом раньше, они мне сказали, довез бы — была б жива. Но по колдоебинам этим какие ж скоростя? Пытка одна.

— Мучалась сильно?

— А ты думал? Как мел была. Но не кричала. Стеснялась, понял? Городская... Эх, да чего там! Погубил я девчонку.

— Не ты.

— Кто ж как не я? Я...

Черная вода выносила из-под моста алые кленовые листья. Покрасовавшись, они растворялись в мглистом тумане. Медленно, как во сне. Смутное стояло утро. Было красиво и глухо.

— Уеду я, — возобновил он тему эскапизма. — Куда, спросишь? В западном направлении. Я ж в ГДР служил, понял? К прибалтам подамся. В Эстонию! Там, говорят, культурно. Вот только мать схороню и... Ладно! — Он сплюнул окуроч. — Идем, студент, колотиться еще порядком.

И снова пошел лес, разбегаясь по обе стороны растресканного, забрызганного грязью лобового стекла. Чем дальше, тем паршивей была дорога, но, захмелев натошак, я сделался бесчувственным. Как под анестезией. Потом лес кончился, открылось низкое серое небо над огромным картофельным полем, по ту сторону которого чернели избы. Десятка полтора. Жались к каемочке леса. Ловя шишак рычага, чтобы сбросить скорость, шофер процедил:

— Вот они, твои Райки...

Заметив нас, работавшие на поле горожанки уронили свои мотыги и бросились туда, куда мы подъезжали, — к навесу над грязными мешками с картошкой. Остановившись, шофер размял папироску.

— Ну, что я им скажу, а? — Он закурил и пошел затягиваться, как перед расстрелом, с нарастающей жадностью... — Раз, помню, на учениях Варшавского договора поляк один под наш Т-54 попал. Так тоже было довольно тошно. Но не так: тот все же солдат был, а тут?.. Эх, мать твою-перемать! Божий мир! — и высадил плечом дверцу.

Я остался в кабине. Сидел и смотрел с высоты, как женщины разом остановились, как медленно, втягивая голову в плечи, подходил к ним шофер. Горожанки все были одинаковы — грязные резиновые сапоги, спортивные трико, ситцевые поверх юбочки. Среди осунувшихся, мрачных лиц я не сразу узнал Динкино — глазастое, бледногубое, совсем девчоночье. Той ночью на Главной башне МГУ и на следующий день, когда мы с Яриком провожали ее, провалившуюся, через всю Москву на Белорусский вокзал, она показалась мне много старше из-за всей этой косметики, которой сейчас на ней не было — нагое лицо. Выражение серьезности, которое оно пыталось принять в ответ на известие о смерти подруги по несчастью, делало это лицо совсем детским, и этот ее жест, рука, машинально заправляющая джемперок под высокий отстающий вокруг талии пояс моих американских джинсов... но бедра, но длинные ноги в резиновых сапогах, не черных, а почему-то алых, с перламутровым отливом — это в ней женское, уже от женщины, и я задыхаюсь от внезапной боли, перехватившей горло. Я распахиваю дверцу:

— Дина!..

Спрыгнув, увязая, вытаскиваю ноги — и к ней. Все расступаются, оставляя ее, схватившуюся за горло, одну.

*

С мертвым ужасом смотрят ее глаза. Я притрагиваюсь к ее локтю:

— Не узнаешь?..

Она поворачивается, круто, и уходит. Прочь. Я нагоняю, пытаюсь обнять. Она сбрасывает мои руки, она, наклонив голову, идет, как зэк под конвоем. Трудно. Увязая, оскальзываясь на

клубнях картофеля, крупного, розового, желтого, давя плоды этой бедной земли поистине с колхозным равнодушием, так что сок брызжет. Я наступаю на железо мотыги, и это первобытное орудие азиатского способа производства стремительно поднимает откуда-то издалека свою рукоять, дубину, облепленную землей, пытается попасть мне в лоб, но я — реакция не изменяет — успеваю сделать финт в сторону. Чем и пользуется она, сбегая из-под конвоя. Как в кошмаре преодолеваем мы это поле, кончающееся ручьем, который она разбрызгивает на бегу, а я беру с прыжка, как старый легкоатлет. После чего мы вламываемся в ельник.

В сумраке огромной ели я нагоняю ее, сбиваю с ног. Сцепившись, мы катимся в яму, где я хватаюсь за свой локоть, где взрывается мгновенная боль от удара о какую-то заранее припасенную для меня железяку. Она уходит от меня по скату на четвереньках. С прыжка я достаю ее бедра и всем весом, щекой к ягодице, прижимаю к земле. Все, не уйдешь. Лежит и дышит. Тяжело. Спина под джемпером дымится от пота. Я просовываю руку выше, за линию лифчика и беру ее за плечо:

— Ну, что с тобой, а?.. Я из Москвы к тебе, а ты... — Я целую ее в ворот джемпера, потом стягиваю его, целую в голую шею, за ухо, в затылок.

— Врасплох, да? Врасплох? Может, я еще не готова?.. И вообще!

— Что «вообще», что?

— Я не так представляла себе... Не хочу, не хочу, чтобы ты видел меня такой.

— Какой? родная моя...

— Ненакрашенной, и вообще... по-моему, у меня вши. Не целуй, я сейчас умру от стыда!

Я приподнимаю ее за бедра, подсовываю под нее руки и — нет, лежи! — расстегиваю на ней свои джинсы. Она пытается помешать, но я стаскиваю их рывком, обнажая полный круглый ее зад, обтянутый эластичными трусами цвета водорослей. С досадой она швыряет в меня еловым мусором. Она рычит, она сдавленным низким голосом говорит, угрожая:

— Не трожь, я грязная.

— Сейчас я тебя вылижу. Языком.

Приподняв резинку над вдавлинкой, залегшей поперек, я от-

крываю белизну ягодиц, стиснутых стыдом. Я исцеловываю их кругом.

— С ума сошел?.. Алеша?! — Я снимаю отмывшийся в ручье, резиновый сапог, на рубчатой подошве которого оттиснуто «Маде ин Поланд», стягиваю штанину, нога теперь вся голая, не считая грязно-белого носка с черной пяткой. — Алеша, мне надо с тобой серьезно поговорить, — бормочет она, принимая тем не менее взаимноудобную позу, упираясь коленями и поднимая попу, именно в этой, еще, кстати говоря, неиспробованной мной позиции, мой питерский дружок Вольф советовал мне когда-то лишать их невинности, поскольку, хотя и слывет среди ханжей непристойной, в этой позе наименее болезнен разрыв девственной плевы, а уж Вольф знает, он самих Мастерса и Джонса по-английски читал... у него мама гинеколог, и вообще надо быть в сексе где-то бестиальным... Неверными руками расстегиваю «молнию», сбрасываю свою небесно-голубую куртку, обламывая ногти, расстегиваю парусиновые штаны — извлекаю. При этом резинка трусов оттягивает яйца назад. Это повышает напряжение. Высоковольтный ток гудит во мне. Белизна ее ягодиц. Темная кровь моего члена. Пульсирующая толсто кровь под моими застенчивыми пальцами. Сейчас я причиню ей боль. Я виновато исцеловываю твердь ее нагой поясницы и это пухленькое вздутие над раздвоением ягодиц. Я запрокидываюсь, гляжу на ель, на готический храм хвои, помогая себе смущенной рукой. Мне страшно, я представляю, что вдруг сейчас мою руку обAGRит ее девственная кровь, и на мгновение неуместно-мрачная фантазия посещает меня (судебно-медицинский эксперт, я озабоченно склоняюсь над найденным телом девочки, полураздетой, изнасилованной, задушенной, полусасыпанной...) С досадным: «Да ой!..» ягодицы мягко толкают меня, отчего я наконец вхожу в нее, одновременно проваливаясь коленями в мох. Я схватываю ее за ягодицы, чтобы не выскользнуть, а колени утопают еще глубже, как в кошмаре, потому что двинуться нельзя, и вдруг меня как бы насаживает на кол. Нехорошее ощущение, но на мне, слава богу, сзади штаны.

— Сейчас... — Заведенная за спину рука нащупывает внезапную помеху. Под пальцами отсыревший холод металла. Круглый бок, коническая форма... снаряд? Я оглядываюсь, мертвея. Да. Я сижу на крупнокалиберном снаряде. Сыробоком, источенном коррозией.

Толчок Динкиных ягодиц усаживает меня на снаряд верхом. Я изо всех сил сжимаю нашу смерть коленями. Зажмуриваюсь. Возвращаю ей толчок. И мы после этого живы, не взорвался снаряд. Вам всем назло — живы. И снова живы, и еще раз. И много-много-много раз еще. И пусть потом разносит в клочья, мне плевать! Но если выживем, с тобой я не расстанусь. Никогда. Мы занимаемся любовью. Долго. (Может быть, слишком долго, сознаю я где-то в отдалении.. Надо кончать с привычкой к анестезии. Кончать с таблетками, иначе...) Но я силой, силой пробиваюсь сквозь свою бесчувственность. И начинаю стонать. Силой! Где-то над нами обеззвучивается от испуга белка, потому что уже не слабый стон беглеца из больницы, а рык звериный рвется из меня. И я отпрыгиваю резко. И кончаю.

Прямо на снаряд.

*

...так тихо. На палой хвое, под навесом ели мы приходим в себя. На откосе воронки. Еще кровь шуршит в ушах. Белочка начинает скрестись. Октябрьский тишайший лес вокруг.

— Тебе хорошо было?

Шейные позвонки всхрустывают: разве можно выразить словами?..

— Да я бы, — говорю, — взорвался б с упоением. Если бы он взорвался.

Ее нога в шерстяном носке дотягивается до торчащего из мха снаряда, поглаживает медь головки.

— А жаль, что не взорвался... Отсырел. С войны нас поджидал. От нашей гаубицы, между прочим, — говорит она. — 152-миллиметровый.

— Откуда ты знаешь? Может, он немецкий.

— Знаю. Наш он. Я в детстве все учебники отца по пушкам каракулями разрисовала. Тогда ведь не было еще ракетных войск. И он артиллеристом был. Простым.

— А сейчас ракетчик?

— И еще какой. Всеми ракетами, на Запад нацеленными, командует. Прикажут ему, он — раз! — и всех их разнесет.

— А они нас.

— Может быть... — Она закуривает мятую папироску. — Ты думаешь, война будет?

— Войны не будет, но будет борьба за мир, — говорю я. — После которой камня на камне не останется. Последний московский анекдот.

— А мне плевать, если и будет, — говорит она. — Что такое война? Это просто наша смерть. Ты боишься смерти?

— Нет, не боюсь.

— И я не боюсь. Раньше, когда в школе училась, боялась, а сейчас нет. Я и без войны уже, знаешь? Раз — люминалом травилась, второй раз — газом.

— Знаю...

— Вот. И мне плевать на эту жизнь.

— А у тебя глаза разного цвета! — вдруг открываю я. — Ты об этом знала? Этот скорее голубой, а этот совсем зеленый. Как у кошки. Никогда не видел ничего подобного!

Отсутствующий взгляд возвращается. Глаза ее упираются в меня, жесткие и злые.

— Ты надо мной издеваешься, да?

— Почему?

— Потому что говоришь не о том, что думаешь!

— Что с тобой? Да я вообще ни о чем не думаю.

— Не думаешь?

— Нет...

— Но ты же ведь, — кричит она, — к девушке летел, к целке! А она женщиной оказалась.

— Женщиной, ты?.. — Ах, да, ведь крови не было. Я подношу к глазам свою правую руку. Не было, да. Я и не понял... — Значит, — говорю я, — значит, у тебя уже тоже есть прошлое.

— Вот именно! А то ты сразу не понял!..

— Нет, не понял.

— Так я тебе и поверила!

Я откидываюсь на спину, надо мной переплет еловых ветвей. И не ревность меня мучает, а собственная несообразительность. И я совсем не знаю, как мне реагировать. — И кто же он, твой первый?

— Кто, кто... Какая разница? Теперь жалеешь, что летел, да? Раскаиваешься? Ведь я тебя просила, умоляла: «Не торопись!» Ты сам все испортил. Налетел, как ненормальный! Слова не дал сказать.

— Слушай... Да брось ты, — кричу, — пинать эту штуку! Взорвется же!

— Не взорвется, — угрюмо отвечает она. — Тут их полно. Лежат себе и что-то не взрываются.

— Ты его любишь? Если ты его не любишь, то для меня это значения не имеет.

— О чем ты говоришь, Алеша! Да я из-за всей этой... из-за кошмара этого я газом травилась, а он мне про любовь! Ты получил мое письмо?

— Получил.

— Ну, и вот... *Изнасиловали* меня. Теперь ты понимаешь?

— Как то есть изнасиловали? — вскакиваю я.

Она опускает голову.

Как после удара под ложечку, меня охватывает тошнота. Что-то гнусное сжимает мои внутренности. Я выбираюсь из воронки, сажусь к подножию ствола. Я влипаю затылком в смолу, отдергиваюсь, и от резкой боли в корнях волос вскипают слезы гнева. Ну, за что мне еще и это? Мало мне уже, что ли?!

— Кто?

— Какая разница...

— Нет, я хочу знать!

На другом краю воронки она охватывает свои колени.

— Золотая молодежь, — говорит она. — Мальчики.

— Не один?

Она вздыхает. — Нет...

— Сколько?

— Я их не считала. В отключке я была. Если хочешь, могу рассказать.

— Ну?

— Ну, пригласили в одну компанию... — Она раскуривает папиросу, морщится, отбрасывает горелую спичку. — Я была и еще одна. Остальные парни. В общем, напоили они нас, как выяснилось потом, спиртом. Медицинским. Закрасили его и за наливку выдали, за клубничную. Мы-то ведь ничего не подозревали, а у них, оказывается, все заранее продумано было. Сво-лочи!.. Ну, и втоптали нас в грязь с головой. Когда я включилась обратно, уже было поздно. Но мне не так досталось, как той, второй, которая уже и до этого не невинной была. Об меня им неинтересно было мараться, а что они с той вытворяли, так это просто чистый садизм. Перед тем как смотаться, я заглянула в салон. Представляешь, она лежит на ковре, голая, а эти

сидят вокруг, как прямо из племени канныбалов, и гоняют по ней машинки.

— Что еще за машинки?

— Автомобильчики детские. Ну те, что с Запада все привозят в качестве сувениров. Вроде гонок что-то по ней устроили — знаешь, пьяные дела? Изъездили всю в кровь. И руки у нее связаны. «Жених» ее, кстати, тоже игрался. Он ее как бы под кодом «невесты» привел, а тут... С этими машинками они все въезжают в его «невесту» чуть ли не по локоть, представляешь? А ему хоть бы хны. Хохочет. Но самое странное, что и ей, с которой они так развились, и ей все это как с гусыни вода. Есть же люди! Хоть что с ними делай, а они как ни в чем ни бывало. Подруга эта потом телефон мне обрывала, после смены у завода стерегла. Они испугались, когда узнали, что я газом травилась. Боялись, что я заявление в милицию понесу. И через эту же, рабыню свою, отступную предлагали.

— Деньгами?

— Дисками. «Ролинг стоун»ов и так далее. И щенка.

— Уж не борзого ли?

— Нет, скоч-терьера. Черный такой, лохматый. Очень симпатичный.

— Ты хочешь собаку?

Дина затягивается последний раз, отбрасывает окурок, который отскакивает от снаряда и пытается воспламенить развороченный хвойный наст. Она говорит:

— Расхотела...

Я подтаскиваю сухую ветку, ломаю ее на куски, сначала руками, потом о колено. Что тут скажешь? Тут сказать нечего. Я сползаю в воронку. Обстраиваю хворостом снаряд. Рядом падает смятая пачка «Севера», и она пойдет в дело. Я выворачиваю карманы куртки. Нераспечатанную пачку болгарской «Стюардессы» бросаю к ее ногам, а все свои наркотики, особенно димедрол в бумажной упаковке — сюда же. Сверху я натаскиваю еще мертвых веток и, не оборачиваясь, говорю:

— Кинь мне спички.

Помедлив, она бросает коробок. Я зажигаю использованный авиабилет, сую пламя под веточки. Сгорая, корчатся на них иглы, и вот уже занимается мой костер.

— Что это ты делаешь?

Я задуваю пламя вовнутрь, глядя, как подсыхает бок снаряда. Теперь уже костер не унять.

— Сгорит же все, Алеша?

— Если бы все, — говорю я... — Идем отсюда.

Обнявшись, мы хрустим сквозь лес. За нами поверху крадется белка. Перескакивает с дерева на дерево. Старый лес кончается. И средний. Мы продираемся в ельнике, и она оглядывается:

— Не сработает. Отсырел динамит...

На самом выходе из лесу земля вдруг сотрясается от взрыва. Мы — падаем в старый пехотный окоп, и тут грохочет снова: «Бу-бум!» И еще раз! Целая канонада! Я изо всех сил вжимаю Динку в мох. Взрывная волна прокатывается над нами, осыпая хвоей, эхо удаляется в поле, а позади, в лесу, все еще обваливается с треском наша ель — старая, высокая, стрельчатая, как Кельнский собор, который так любил рисовать Достоевский на полях своих черновиков. Сердце бухает: так и кажется, что сейчас — после этакого светопреставления! — что-то произойдет. Но внешний мир отзывается только лаем собаки. Дальним... Ей вторит другая дворняга, третья... Погавкали лениво и умолкли. И нас охватывает еще более глухая тишина.

— Здорово! — шепчет Дина. — Вернемся глянем?

— Зачем?

— Интересно ж.

— Последнее дело возвращаться туда, — говорю я, — где было хорошо. Вперед и только вперед!

Мы выползаем на бруствер, заросший красными кустиками брусники.

Перед нами — картофельное поле. Огромное серое пространство с чернеющими, где уже убран картофель, полосами. Оно молчит. Грузовика нет. Нет и женщин. Разошлись по избам. Никого... Мы лежим в бруснике и курим, созерцая готовую к зиме октябрьскую пустоту.

— Ты говоришь: «Хорошо»... Несмотря на?

Я говорю:

— Не будем об этом.

— А ты меня любишь?

— Люблю.

— Потому что я тебя очень-очень. Ты мне веришь?

— Верю.

— И ты меня еще долго будешь любить?

- Всегда.
- А вдруг разлюбишь?
- В нашей ситуации, — говорю я, — это было бы как дезертирство. Мы ведь с тобой, как два бойца.
- Да. Последние...
- Последние, но атака отбита. Но бой, — говорю, — еще не кончен. Небольшой такой. Местного значения.
- Но ведь важный, да?
- Да. От него зависит исход всей войны.
- Раз так, — говорит она, — умрем, но не сдадимся. Как защитники Брестской крепости.
- Русские не сдаются. Но давай не умрем. Попробуем, а?
- Давай. Но стоять будем насмерть.
- Естественно. А пока у нас просто перекур. Перед следующей атакой. А неплохо все же здесь, в этих Райках. Природа.
- Неплохо. Не было б так паршиво, было бы и вовсе хорошо.
- В такую минуту понимаешь, что она, природа, от Бога.
- Левая ее рука с въевшейся под некрашенные ногти землей берет сигарету у правой, которая яростно чешет в затылке. — О, Господи, неужели у меня, действительно, вши?
- Дай взгляну, товарищ. — Я укладываю себе на колени ее голову. У нее небольшая голова. Я не люблю большоголовых женщин. И волосы у нее красивые, медного оттенка. Только сейчас они потускнели и слежались. Как обезьяна, я ищу у нее в голове, вынимая застрявшие еловые иглы, и вдруг меня передергивает: один волос унизан белесым яичком. Это гнида.
- Нет, точно? Блядская деревня!
- Лежи-лежи, товарищ. А ля гер ком а ля гер! — Я раздавливаю гниду ногтями больших пальцев, как о том где-то читал. Где? У Ремарка, кажется. «На западном фронте без перемен».
- По-твоему, они тоже от Бога?
- Вши? От происков Сатаны.
- А мы, люди?
- Оттуда же.
- Не по-марксистски рассуждаете, товарищ студент. Вы из МГУ или с печи ко мне свалились? Наша хозяйка тут, карга старая, именно в этом духе и вещает. Вы, говорит, апокалипсиса боитесь, а он вот уже полвека как идет. Темные здесь все-таки люди...

— Я тоже, знаешь ли, хочу стать темным. К черту Москву с ее университетом! С ее Политбюро, ЦК КПСС, КГБ, Министерством обороны, Госпланом, Общепитом и тому подобное. Свободу выбираю. Волю! Вот здесь, в Райках. С твоей каргой, с олигофреном Вовой, с самогоном. Все, решено!

— Ты что, серьезно? — смотрит она с моих колен.

— Вполне. Значит, так: переночуем на сеновале, а завтра с утра в правление колхоза. Я думаю, нам разрешат отколотить вон тот заколоченный дом.

— Но здесь же ничего нет, Алеша! Ни кино, ни телевизора, ни даже газет!

— Да? Чем же здесь, прости, подтираются?

— Лопухами! Нет, я ни за что не променяю цивилизацию на это вшивое прозябанье! Тут же кладбище, Алеша! Самое настоящее.

— Ничего ты еще, я вижу, не понимаешь. Здесь самая жизнь, — говорю я, лаская под свитером ее грудь. — И мы с тобой еще вспомним этот наш окоп.

На искривленном презрением лицо моей любимой внезапно садится снежинка. Самая настоящая, зимняя, мохнатая. Растворяется, превращаясь в каплю. Я запрокидываю голову — с неба на нас спускаются мириады точно таких же. Плывут на зубчатом фоне леса. У меня было предчувствие, ей-Богу! Все это время! Дурак, чего ты радуешься, отговаривает меня голос. Ведь ты вырос из своего школьного пальто, а нового нет, а до весны теперь — полгода. А где взять деньги? До зимней сессии, положим, еще можно дотянуть вдвоем на одну стипендию, а когда исключат? Как вообще жить? Неразрешимая проблема. А ведь придется разрешать. Если, конечно, не посадят... О Господи, зима! Зима тревоги нашей. Дина, с моих колен:

— Это что, в глазах рябит или... — Но вот и еще одна капля на ее лице, и еще, и оно искажается радостью: — Ур-р-ра! Накрылась их картошка! И пусть вся перемерзнет! Завтра же, нет, сейчас же, немедленно собираю шмотки, и — прощай Райки! Это ты, — целует меня, — ты привез мне снег. Ангел мой, ведь я же свободна, ты понимаешь? Свободна!

Я помогаю ей подняться. Обнимаю под свитером, прижимаю к себе, И мы стоим в обнимку, глядя на гибнущее поле. Вот и прошла наша юность, вот и прошла, моя ты горячая. А лицу холодно. Лицо мертвеет, но не уйти никак. Столбенеем...

Снег идет.

ФИНСКАЯ ГРАНИЦА: ФИНАЛ

С того момента минул год, и три, и десять, он прожил уже несколько жизней, и под конец женился на парижанке из влиятельной семьи — а весна так и не наступила. Напротив, стало много хуже. Десять лет назад слова дежурного милиционера, заметившего его сквозь стеклянную дверь и подскочившего по мочь, не имели бы смысла:

— С утра пораньше макулатурку сдавать?

— Макулатурку, да, — ответил он, таща мимо милиционера по ступенькам крыльца мешок из полиэтилена, в каковые бережливые люди новой эпохи застегивают на лето свои дубленки. В мешке том было все написанное им за эти десять лет, а в стране был острый «книжный голод», и не то, чтобы приличную книгу, даже само право записаться в очередь, чтобы книгу эту купить, продавалось государством в обмен на двадцать килограммов сданной макулатуры.

Он тащил свой мешок по асфальтовой дорожке, а милиционер, заложив руки за спину, шагал вровень по тротуару. Рукописи были напиханы второпях, как попало; оглянувшись, он заметил, как шевелит губами попутчик в погонах, читая сквозь прозрачный полиэтилен какую-то машинописную страницу. Надеюсь, не самую гневную.

— Вы писатель?

— Нет, — мотнул он головой.

— Но вы же из писательского подъезда?

Тринадцатизэтажный дом над ними розовел в лучах восходя-

щего солнца, но Белым окрестные жители прозвали его не только за цвет, а потому что заселили этот дом привилегированным людом. Причем, каждый из десяти подъездов отражал свою ступень привилегированности, начиная с подъезда, отделанного мрамором. Он был из сравнительно скромного подъезда, но для двадцати семи лет это было очень удачное начало. Милиционер настаивал:

— Я к тому, что, может, вы мне книжечку свою надпишите? Я собираю библиотеку автографов, знаете? Из вашего подъезда мне уже многие надписали. В том числе и тот, у которого третьего дня обыск был. Но, между нами говоря, я успел его предупредить. И у него ничего запретного не нашли. Я уважаю писателей. Вы меня понимаете?

— Понимаю. — Он остановился у стоянки. — Но поймите и вы меня: я не писатель. Я всего лишь навсего мудопис.

— Кто?

— Муж дочери писателя. Му-до-пис.

Дошло. Захотел, хлопнув по плечу, оценив цеховую шутку, известную всем членам Московского отделения Союза писателей. И отвязался, обратно пошел, раскачивая выдвинутую антенну своего «уоки-токи», а писатель дотащил мешок до «фольксвагена». Открыл ему пасть. Перевалил туда свой груз и захлопнул капот. Все.

— Эй, — окликнул он у подъезда милиционера. — А есть еще жопис.

— А это кто?

— Жена писателя.

— Ха-ха-ха! — заржал милиционер за стеклянной дверью, а он поднялся лифтом на третий этаж, толкнул дверь, очень престижную, обитую толсто красивым черным дермантином, тускло посвечивающую узором обойных гвоздиков и ободком глазка. Влетела ему эта обивка в копеечку, но зато обойщик-левак, захмелившись после трудов праведных, рассказал, кто живет над ним: папаша — полковник, а сынок — лейтенант. *Оттуда*. Так что ты, писатель, осторожнее... А кто же мамаша? А мамашу они в гроб загнали. Вот тебе и Белый дом, и «писательский» подъезд.

На кухне в кресле сидела беременная женщина. При его появлении она шелкнула зажигалкой и прикурила очередную сигарету. У нее было русское имя, она носила некогда громкую,

пожалуй, даже баснословно громкую российскую фамилию и порусски говорила без акцента, благодаря урокам бабушки. В ней было нечто русское, во всяком случае, в Москве ее всюду и все принимали за москвичку — из высшего, понятно, общества. Но была она иностранкой. Беременной на девятом месяце. От него, ее советского мужа.

Хрустальная пепельница перед ней была полна окурков, а еще за время отсутствия на столе появилась распечатанная пачка с авторскими экземплярами его первой книги и серебряная ложечка, чайная, с вензелем его предков на черенке.

— Машину не угнали, покрышки не пропороли, моя милиция нас бережет, — сказал он. — Ложечку возьму, мерси.

— А книги?

— Оставлю.

— Сделай еще кофе, будь добр, — сказала иностранка. Она взяла из пачки экземпляр этой даже не книги — книжечки. В голубой и зеленой, таких сплывающихся, пастельных тонов обложке. Он написал эту книжечку в канун исключения из университета, всего за месяц, за медовый, можно сказать, после чего потратил целое десятилетие, чтобы пробить ее в свет, и это удалось, потому, быть может, что изменил он первой любви, чего Священное Писание делать не рекомендует, но жизнь есть жизнь есть измена. И были потом десятки других, включая Ецуко, заразившую его какой-то странной японской болезнью: три недели почему-то левая рука (*сик!*) была в волдырях... да, включая Ецуко и вот ее, избавительницу на сносях. Он снял кастрюльку с кипятком, выключил горелку и, заодно уж, отключил электроплиту.

— Глупо оставлять, — сказала она, откладывая книжечку. — они все равно все в макулатуру отправят.

— Здесь я ее и не оставлю.

— А где, у Вольфа?

— Где, где... В России, — усмехнулся он.

Вымыв чашки и ополоснув кофейник, они в последний раз обошли свою первую и не вполне еще обжитую двухкомнатную квартиру, отключили холодильник, приоткрыв дверцу и подстелив тряпку. Перекрыли воду. С взаимоуничтожившимся дюралюминиевым рокотком свели на окнах шторы. Пока он пере-взывал пачки авторских экземпляров, она — просто так, потому

что там было пусто — еще раз открыла потайной ящичек старинного бюро. Сказала:

— Такого у тебя там не будет.

— Плевать.

— Можно было бы продать обратно в комиссионку.

— Да, — сказал он. — Но я не по израильской визе выебываю, не так ли?

Он взвалил на плечо гроздь пачек и прихватил свою старую портативную машинку. Там машинки не стоили ничего, но она промолчала.

Она вернулась на кухню, чтобы взять пепельницу и ложечку.

Они вышли и захлопнули дверь.

В машине она заняла место у руля, спросила:

— Ключи у тебя?

— Черт! Забыл квартирные отцепить. Вернуться, что ли?

— Пути не будет, — щегольнула она знанием российских суеверий, и он положил в ладонь ей связку, и она, выбрав ключик, вставила его в скважину зажигания. — им все равно придется взламывать.

— Тоже верно... Тормозни рядом вон с тем мусором. Книжку ему надпишу.

— С какой это стати?

— Он Андрюшу перед обыском предупредил. Наш человек.

Перед тем как выехали на Садовое кольцо, он успел раздать уже две пачки книжек. Еще было три года до Олимпиады, но вся Москва, как завод в конце месяца, была уже охвачена угаром штурмовщины, и мобилизованные по причине нехватки рук студенты в защитных куртках стройотрядов отрабатывали свой «трудовой семестр», ломая старые хибары и расширяя дороги. Все флаги в гости будут к нам, репетируя грядущее торжество коммунизма. Будет ли, как записано в Программе КПСС, коммунизм в 1980? Не будет, отвечает армянское радио. Будет Олимпиада. А что было в том, незабвенном 67-ом, когда ты возник на этом асфальте? А было Пятидесятилетие, под шабаш которого незаметно удушили «оттепель»...

Одна студенточка, обтерев руки об задницу, раскрыла книжку, там была фотография автора. Она удивленно подняла глаза:

— Это вы? Такой молодой.

— Ранний, — поправил он, — ранний. Молодой — это я сейчас.

— А сколько вам? — спросила другая, еще грудастей.

— 27.

— О-о!.. Лермонтов в этом возрасте уже погиб.

— В Союзе писателей СССР, — сказал он, — средний возраст члена 67. Геронтократия, как и везде.

— А вы член?

— Член.

— Как, уже? — Студентки захохотали.

Крикнули вслед:

— Спасибо, товарищ писатель!

Он шлепнулся на сиденье, захлопнул дверцу: прочь, прочь...
Не жизнь, бля: скверный анекдот...

Выбрались на шоссе, она облегченно выдохнула:

— Эта Москва... Прямо как Ватикан: государство в государстве.

— Вот именно, Ватикан! — усмехнулся он.

В чем у меня нет никаких сомнений, так это в существовании антитворческого начала, источника вселенской мертвечины. Можно сказать, религиозный человек я. От противного.

В отличие от Минского шоссе эта дорога — на встречном пути по которой когда-то вместе с Радищевым родилась российская интеллигенция — стратегического значения не представляла. На расширение и благоустройство ее поэтому не хватало, видимо, средств. По пути он развлекал себя тем, что в каждом из описанных Радищевым городков оставлял по экземпляру книжки — и в Черной Грязи, и в Пешках, и в Клину, и в Завидово, и в Твери (пардон, в *Калинине*...) Прямо из «фольксвагена» совал в чьи-то руки. Не пенсионерам, конечно, и не среднему угнетенному бытом и трудом возрасту — беззаботным юным. В Крестыцы, правда, свернуть с шоссе не попросил, оставил пяток экземпляров на скамье под навесом автобусной остановки. Но попросил свернуть налево, на проселок. День на исходе, и уже отмутили больше полпути...

Асфальт на этом пролеске кончился через 500 метров. Для показухи — мимоезжим интуристам — дальше и не нужно. Не Сибирь, Европейская Россия, и все же леса здесь глухие. Впрочем, мелькнула и деревенька. Слева, за черными верхушками, скакало красное солнце. Километров через двадцать лес расступился, и

— по обе стороны — раскрылся простор. У перекрестка дорог «фольксваген» затормозил.

Он выключил транзистор.

— Здесь мое родовое имение. Было.

— Где?

По правую руку засеянное льном всхолмье, по левую овраги, и в центре лесного окоема они одни.

— Где-то там, — показал он в сторону оврагов. — Судя по воспоминаниям о воспоминаниях.

— А ты здесь не был?

— Никогда. — В овраг вела вскопанная коровьими копытами дорога, исчезала, всходила на кручу... — Вытянет твоя тачка, нет? Если застрянем, не беда, я трактор пригоню. Тут километров через пять колхоз.

— Может быть, и вытянет. Только вдруг я рожу?

Сняв руку с руля, она с сомнением огладила живот.

— Но ты же мне пообещала, что не раньше Амстердама?

— Да, — сказала она, — но я, видишь ли, не могла предвидеть таких... апэндаунов.

— Что ж, — сказал он, — отдохни тогда в машине. Не бойся, тут народ неопасный.

Он осторожно прикрыл за собой дверцу, поднял крышку багажника, и, отразившись, солнце ослепило ее. Захлопнул, вытащив свой мешок, набитый рукописями так, что застежка «молния» едва сошлась. Саперную лопатку он сунул за пояс — и потащился под горку, виновато оглядываясь и давя мешком лепешки коровьего помета. Скрылся и — через семь с половиной минут — возник на подъеме в уменьшенном виде, а потом махнул рукой и пропал.

Красный диск висит над лесом.

Она открыла дверцу, опустила сиденье, откинулась со стоном и вытянула ноги. Она вела машину босиком. Она смежила веки. Полная тишина стояла кругом, только изредка пролетали птицы, и ребенок, еще неизвестного пола, но не мутант, надеюсь, энергично толкался под сердцем. Этот век подорвал их генофонд, ежегодно, по статистике, прибывают сотни тысяч новорожденных, не повинных ни в чем дебилов... Надеюсь. Остается только верить в голубую кровь. «Что вы хотите, *принцесс*: в Россию можно только верить», — услышала она его голос, впадая в дрему.

Разбудил ее пристальный взгляд — сквозь стекло, обеими руками сжимая глиняную кринку, смотрел мальчик. Конопатый такой, беленький. Настоящий русачок. Она улыбнулась, и русачок тоже, смелая.

— Вы, тетенька, из Новгорода?

— Нет, из Москвы.

— Откуда? — удивился русачок.

— Москва, — сказала она. — Разве ты не знаешь?

— Неа. Тоже, что ль, город?

— Это, — сказала она, — столица твоей родины. Раньше Петербург был, а теперь Москва. Там Кремль.

— Тетенька, — перебил русачок, — а это чья машина?

— Моя.

— Бабы, они на машинах не ездят. Врете, да?

— Почему же я вру? — улыбнулась и она. Не выпуская свою кринку, он обошел «фольксваген» кругом и утвердительно продолжил:

— Вы, наверное, из милиции... А пистолет у вас есть?

— Нет. Бабам пистолет не выдают.

Он понимающе кивнул, после чего спросил:

— Тетенька, а можно бибикнуть?

— А ты умеешь?

Русачок бережно передал ей кринку, в горле которой пенилось парное молоко, всунул в машину ручонку — и протяжный звук клаксона огласил даль послезакатных сумерек...

Кринка была шершавая и теплая.

— Попейте, если хотите, — сказал он. — А то я все равно разолью.

— А тебе далеко? — спросила она после глотка.

— Да не так, чтобы очень. Но и не особо близко. До Родничков, знаете? — Он сказал это так, будто это был центр мира, и она кивнула:

— Знаю. — И толкнула правую дверцу. — Садись, подвезу!

Когда она вернулась, он сидел у перекрестка на корточках и отмывал в луже лезвие лопатки.

— Гудела-гудела, — сказал он, занимая свое место, — а самой нет.

— Это не я гудела.

— А кто?

Не ответила.

— Где ты была?

— Так, — сказала она... — Была.

Он пожал плечами. — Я задержался, прости, но это, знаешь ли, непросто, — сказал он, — выкопать себе могилу... Да! Смотри, что я откопал! — Он показал ей серебряную монетку со стертым профилем Екатерины Великой. — Гривенник, причем 1789 года! То есть всего за год до радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». — Подбросил ногтем, поймал и застегнул в нагрудный карман джинсовой рубашки. — С нумизматической точки зрения, зеро, но все равно приятно было получить... Таким образом, земля моя со мной расплатилась. Квиты!

Она переждала фары встречного грузовика и съехала на темное шоссе, выворачивая влево, на Новгород; там ей, как иностранке, сдали номер-люкс, а ему, как советскому, пришлось влезать в окно по водосточной трубе.

*

На следующий день по ее филологическим делам они заезжали в Старую Руссу, изображенную в «Братьях Карамазовых» под псевдонимом Скотопригоньевск, вряд ли, кстати говоря, справедливым: сейчас, сто лет спустя, мало изменившись, уездный этот городок, у слияния рек Полисти, Перерытицы и Порусьи, был чудо как хорош. Древнюю церковь Мины, конечно, выкорчевали, как и бедную Владимирскую, и другие церкви великого романа, но дом Достоевского сохранился, и ей казалось, что все еще обратимо. А разве нет? Стоит только перебить таблички, восстановив первородные названия улиц. Возродить Крестецкую (из Карла Маркса), Старогостинодворскую (из Энгельса), и Поперечную (из Клары Цеткин), и Дмитриевскую (из Красных Командиров). Переименовать обратно площадь Революции в Торговую, Советскую набережную — в Красный, «красивый» то есть берег. Набережную Достоевского оставим... Накрутившись по тенистому городку и реставрировав в уме миропорядок, способствовавший высочайшим взлетам русского гения, она вернулась в Новгород — и те две церкви не забыть, белые на зеленом, — и повернула дальше на северо-запад, к столице их предков, и не только его: ее, иностранки, тоже.

В Ленинград они въехали засветло, хотя по часам уже надо было спешить, чтобы успеть до закрытия магазинов. Белые ночи по календарю уже кончились, но по инерции еще продолжались. Окна были откручены, и из машины постепенно выбивало сырой воздух равнинно-болотистого предместья. Он учуял городской сквознячок — ноздри затрепетали.

— Северная Венеция, — произнес он, вспоминая... — Настоящая, она, наверное, иначе все же пахнет?

Она ответила:

— Venise pue.

— Чем?

— Скоро ты сам себе ответишь на этот вопрос.

— Ты устала?

Выдержав паузу, она сказала:

— Нет, но ноги затекают.

— Сейчас отдохнешь у Вольфа.

— Ты думаешь, он у себя?

— Где ему еще быть? Если в психушку не забрали снова, то у себя, конечно.

— А если забрали?

— «Если, если». Дум спиро спиро.

— Только не напивайся, очень тебя прошу.

— Знаешь? — вспыхнул он... — Брось разыгрывать роль опекуни! Я его Бог знает сколько не видел, а он, говорят, роман века на Запад переправил. Посильней, чем «Процесс» Кафки. Вот-вот взорвется там, и тогда уж беднягу упекут в Потьму. Как не напиться? Вдребезги уьемся.

— Да? И с прободением язвы, — сказала она, останавливаясь на красный свет, — сляжешь здесь в больницу. Как раз на срок выездной визы. И что тогда? (Если, конечно, не зарежут.) Опять влезать во все это ваше кафкианство с оформлением заграничного паспорта? Ну, а если на сей раз откажут?.. Мы — там, а ты так и сгниешь тогда в этом ЦДЛ. В этой банке с литтарантулами, как сказал Вознесенский.

— Ладно. Купишь мне бутылку «Ессентуки № 17».

— Я не говорю: «Не пей», я говорю: «Не напивайся»... Кошмар! — содрогнулась она от ей же и нарисованной картины.

Тем не менее в «Березке», магазине, обслуживающем только иностранцев и только на конвертируемую валюту, купила не только грузинской минеральной воды, но и «Джонни Уокер», и

«московской» в экспортном, то есть пшеничном варианте, и джина, и мартини, и пять блоков американских сигарет (а себе шестой — голубых «капоралей»), и крабов, и икры, и еще чего-то, что вынес за ней бой гостиницы «Европейская». Он, которому, как советскому, туда нельзя было входить, топтался у дверей, как какой-нибудь фарцовщик, а потому положил в протянутую ладонь боя не долларовую, а пятирублевую бумажку. На черном рынке это была максимальная цена доллару, и все равно этот подонок скорчил рожу. Мразь!...

Ни в одной стране, там, номинал иностранца не выше. Ни в одной! И только в этой — СССР — ты, советский, свой — как недочеловек... Хуже чем негру в Южной Африке! Достаточно и этого апартеида, чтобы, свалив, оглянуться во гневе... думал он, по натуре отнюдь не злопамятный человек.

*

Как и десять лет назад, Вольф жил в угловом доме самого устья Невского, у площади Московского вокзала. С чувством возвращения на круги своя, он открыл коленом тяжелую по-старинному дверь парадного, сказал: — Осторожно!.. — потому что пол, выложенный стертой мозаичной плиткой, осел по отношению к оставленному за порогом тротуару Невского. Кованая узорчатая решетка лифта — увы, на ремонте. Улиточный завиток бронзовых перил. Сточенные лезвия прогнувшихся мраморных ступеней. Застойная вонь мочи. Медленно поднимаясь, они спугнули было одинокого наркомана, расположившегося в глубокой нише венецианского окна (с видом в символическую безысходность двора). Увидев их, «нарком» с обликом героя «Идиота» (на фазе эпилога, где князь впал в клинический идиотизм) дальше рукав рубашки раскручивать не стал, но шприц убрал, быть может, из деликатности перед беременной женщиной. Ленинградцы и в самом плачевном положении остаются более людьми, чем прочий люд.

На второй площадке, кроме огромной жилой коммуналки находится еще и учреждение — туберкулезный диспансер, и это еще одна из причин, почему его старый друг столь цепко держится за это в бытовом отношении убогое, но стратегически, в карьерном смысле (вокзал!) очень выгодное место. Огромная двустворчатая дверь по закраинам. как причудливыми насекомы-

ми, усеяна звонками всех систем, к каждой из семей — свой. Он надавил кнопку над позеленевшей медной табличкой с вызывающе щегольскими вензелями гравировки: «Г.Х.Вольф, литератор».

Двери здесь двойные: сначала лязгнула внутренняя, потом приоткрылась наружная — на длину цепочки. Высунулось этокое полупрозрачное ангельское личико. Мальчик. Лет десяти.

— Вы к дяде Генриху?

— Да.

— Его нет. — Сняв цепочку, мальчик впустил их в полумрак огромной прихожей.

— А где он?

— Пропал! — кратко ответил мальчик и, обгоняя их, бросился к генриховой двери, на которой висела разлохмаченная бечевка, концы которой были впаяны в сургучную блямбу. Мальчик приподнял блямбу: — Вот...

Герб сверхдержавы был оттиснут на сургуче.

— Что это? — спросил мальчик.

— Бога ради, идем отсюда, — сказала она.

— Это печать, — сказал он, опуская тяжелый свой груз в нарядных фирменных мешках «Березки». — Кто ее повесил?

— Не знаю, — ответил мальчик. — Я в пионерлагере был. Вернулся, а она висит.

— Идем, — повторила она, — ну?..

— Подожди... Но разве смена уже кончилась?

— Нет.

— А почему же ты вернулся?

— А — выгнали.

— За что же?

— За дезертирство. Я землянку выкопал, в лесу, — объяснил мальчик. — Потолок из веток, а сверху дерн. Днем ничего не видно было, а после отбоя и подавно. Директор повел старшую пионервожатую в лес, и они провалились. Старшая пионервожатая кое-что себе повредила, и директор стал всех допрашивать. Ну, и Белобокин меня заложил, дружок мой бывший. Гадом оказался.

— Ясно, — сказал он. — Но при чем же тут «дезертирство»?

— При том, что когда всех заставили играть в военно-патриотическую игру «Русский натиск», я а свое убежище спрятался. И они играли без меня. «В военное время, — сказал директор, —

я тебя перед лицом твоих товарищей собственноручно б расстрелял». Сорвал галстук и выгнал. Теперь до конца лета буду смогом дышать. — Мальчик фаталистически вздохнул, добавив, что раньше он думал, смог этот только в Нью-Йорке, но мама сказала: «Нас тоже травят». Общительный такой мальчик. Даже слишком.

— А где твоя мама?

— А сейчас который час?

— Скоро десять.

— Снова, значит, загуляла. А вот эта печать, — спросил он, — она что означает? Что к дяде Генриху входить нельзя?

— Да.

— Жаль, — сказал мальчик. — Когда дядю Генриха в сумасшедший дом увозили, я к нему ходил.

— У тебя есть ключ?

— Нет, но я знаю, где он спрятан. Мне дядя Генрих показал.

— А где он спрятан?

— А разве вы не знаете? Все друзья дяди Генриха знают. Вы его друг?

— Я друг! — И даже по груди себя ударил, заверяя. — Мы с ним дружили, когда тебя еще на свете не было. Но мы давно не виделись с дядей Генрихом.

Мальчик оглядел их, бросил взгляд на мешки. — Вы не из-за границы приехали?

— Нет, — мотнул он головой, — из Москвы.

— Ладно, — решил мальчик, — идемте!

Жена осталась стоять, прислонясь к косяку запломбированной двери, а он пошел за мальчиком, который вскоре исчез в темноте коридора. Но он знал эту дорогу. Щелкнул выключатель, и мальчик осветился, уже внутри коммунального сортира. Бачок, высоко вознесенный ржавой трубой, был и десять лет спустя не починен, и из затоптанного унитаза хрипела вода, выражая этим звуком как бы протест против своего противоестественного струения. Стены сортира были завешаны самосшитыми мешочками, где каждая семья, населяющая эту коммуналку, держала свою собственную подтирку, хотя все тут подтирались одними и теми же в общем-то газетами. Ну, разве что одна старуха из «бывших» выписывала более высококачественную «Юманите». На одних мешочках были вышиты фамилии владельцев (Философова, Мартинсоны, Редькины, Хмяляйнены...), владельцам

других было наплевать. Мальчик приподнял туго набитый холщевый мешочек, на котором к кавказской фамилии Беков какой-то остроумец приписал красным фламастером инициалы «К.Г.», значительно глядя просунул руку в нашитый сзади кармашек и вынул ключ.

В ушко ключа была вставлена записка, пробитая скрепкой скоросшивателя:

«Всем! всем! всем! (включая КГБ и средства массовой информации цивилизованного мира). Податель сего, не желая уподобляться герою «Процесса», исчезает бесследно. Просто надоело ждать ареста. К тому же кровохарканье, традиционная болезнь петербургского литератора, удерживает меня от роли героя-великомученика Мордовских лагерей. Просьба к «компетентным органам» не поднимать полмиллиона пограничных войск в ружье: бегу вовнутрь. Просьба к западному издателю моего романа: все гонорары за «копирайт» передать в фонд помощи тем, кто бежит наружу. Просьба к друзьям: не устраивать на сей раз у меня бардак, а поскорей передать огласке вышеизложенное. Я любил вас, так будьте же бдительны: враг не дремлет. Что касается меня, то, надеюсь, до 1984 года они меня не отыщут, а там увидим кто — кого... *Литератор Вольф*».

Записку он положил в карман, а ключ вернул мальчику.

— Разве мы не пойдем к дяде Генриху? — разочарованно спросил мальчик.

— Лучше не стоит, — сказал он.

Вернулся и взял беременную жену под руку.

— Эй! — окликнул мальчик. — Вы что-то забыли!

Под опломбированной дверью остались праздничные мешки «Березки».

— Твоя мама курит?

— Как паровоз.

— Вот и отдашь ей сигареты. А пьет?

— Бывает...

— И бутылки, значит, тоже. А икру можешь съесть сам. Договорились?

— Хорошо... — И выскочив на площадку: — Но что такое, — крикнул вслед, — *икра*?

*

Вокруг «фольксвагена», запаркованного во дворе дома № 110,

толпились тени, при их появлении деликатно ретировавшиеся. Они захлопнулись в свою машину, как в сейф, и защелкнулись изнутри. Сидели на дне сумрачного каменного мешка, курили и молча смотрели на дырку подворотни, озаренную по краям газовым излучением с Невского. Мимо дырки текли фигурки гуляк.

— Его арестовали?

— Не успели.

— А где он?

— Исчез... — Он извлек из кармана рубашки послание Вольфа миру и передал ей. Прочитав записку, она глянула в зеркало заднего обзора, подняла подол и спрятала ее в трусы. Трусы на ней были эластичные, специальные трусы, чтобы поддерживать живот. Французские, конечно.

— В случае неадекватной мимики, — предупредил он, — они влезут и в трусы.

— За мимику ты можешь быть спокоен.

— Они специалисты не только по лицевым рефлексам. Насколько мне известно, на каждой таможне имеется гинекологическое кресло.

— Не посмеют.

— У тебя что, дипломатический иммунитет?

— Иммунитет беременной женщины. Дай мне, пожалуйста, атлас. — Листая «Атлас автомобильных дорог СССР», она спросила: — По-твоему, в этой стране можно исчезнуть бесследно?

— Почему бы и нет? Страна огромная, полицейская система несовершенна... Кстати, там у нас сзади не номер случайно записывают?

Она взглянула в зеркало. — Обычный интерес к западной технике. Чисто платонический.

Тем не менее включила зажигание. Проехав мимо облупленных стен и окон с телевизорными отсветами, «фольксваген» втиснулся в тоннель подворотни, рассек толпу на тротуаре Невского и повернул направо. Он молча смотрел сквозь стекло. Перед Аничковым мостом не выдержал:

— Этот дворец, справа...

— Да?

— Вот на этом углу Достоевский пережил самую восторженную минуту своей жизни. После свидания с Белинским, кото-

рый жил в том дворце и, прочитав рукопись «Бедных людей», пообещал юноше великое будущее.

— А что там сейчас?

— Ничего. Угол.

— Нет, во дворце?

— Райком КПСС...

— Жаль, что так получилось, — сказала она. — Могли бы остаться в Петербурге хотя бы на день. Взглянуть на фамильные гнезда, на дом Набокова... Большая Морская, 47?

— 47, — подтвердил он, — но улица Герцена.

— Не самое плохое переименование.

— Не самое. — Излучение реклам и витрин перемежалось провалами во тьму боковых улиц и каналов. — Ничего, — сказал он, — купим как-нибудь открытки. Они здесь хорошего экспортного качества.

Нева была в чешуе бликов. С Дворцового моста она показала налево:

— Там был дом моей бабушки.

— А там моей, — показал он направо, и они рассмеялись. С Васильевского острова по Тучкову мосту переехали на Петроградскую сторону, и там, за Петропавловкой, заправились в последний раз дешевым советским бензином. Полный бак.

За городом, на Выборгском шоссе, она прибавила скорость, чтобы расслабиться и унять толчки под сердцем. Он поднес к ее сигарете загибающийся язычок газового пламени, укутал плечи пледом. Вот так же, в 1917, но только в декабре, уходила через финскую границу юная русская княжна, чтобы воссоединиться в Швейцарии с русским офицером, бежавшим из германского плена. Ее профиль, по-индейски зорко, был устремлен за лобовое стекло, а живот, как нечто отдельное, тяжело покоился на расставленных ляжках.

Сонный Выборг, основанный шведами на пятьсот лет раньше Санкт-Петербурга, без людей выглядел совершенно по-западно-му, но это был еще Союз. Он пожал ей колено.

— Ноги не затекли?

— Нет.

— Остановимся, я сделаю тебе массаж.

— В Финляндии, — сказала она. — На первой же станции ав-

тообслуживания. И выпьем кофе, да? Мечтаю о большой чашке горячего кофе.

Над шоссе клубился туман. Они вернулись к машине, уже обысканной, и захлопнулись. Она небрежно сунула в бардачок свой синий паспорт, сплошь заштемпелеванный самыми разнообразными визами, а он бережно подул на свою первую, нарушившую девственность розовых страничек новенького бордового паспорта.

— Размажется, — ответил он на ее снисходительный взгляд.

После таможни их еще дважды притормаживали на шоссе пограничные патрули, проверяя еще и еще раз паспорта, рефлексy, реакции и заставляя выходить из машины. Крыша была в испарине росы. Во втором патруле был узбек, внешность которого не вязалась со скупым карельским пейзажем, рассеченным широким и добротным, еще финнами проложенным пустынным шоссе, в котором было что-то аэродромное...

SUOMI. Лев с саблей на сине-белом полосатом столбе. Занятый разговором с напарником, финский пограничник, услышав за спиной звук машины, нажал кнопку автоматического шлагбаума. Даже не оглядываясь.

Тот же туман, то же редколесье и озера по обе стороны гладкого, без выбоинки, шоссе, но под колеса с его оси летит уже интенсивно-яркая желтая разметка, но это уже Запад, Запад, *Zanad*, и когда он смотрит на себя в зеркало в ослепительном сортире на станции автообслуживания, ноги вдруг подкашиваются так, что он схватывается за раковину. Он перевозбужден, он как бы в лихорадке, но ноги уже не держат, будто он, как в юности, перезанимался любовью стоя. Он выбирается наверх, в изнеможении сваливается рядом со своим кофе и поднимает глаза.

— Не верю, — говорит он. — Этого просто не может быть! Ради этого один мой друг когда-то жизнь заплатил. Безумная история. Я тебе не рассказывал?

Париж, 1982.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| | |
|--|-----|
| Санкт-Петербург, СССР. Пролог. | 7 |
| Глава первая. Все, что стремится ввысь, должно сойтись. | 20 |
| Глава вторая. Операция «Сорбонна». | 31 |
| Глава третья. Выбор оружия. | 43 |
| Глава четвертая. Эльза. | 54 |
| Глава пятая. Круиз на «Адольфе Гитлере». | 81 |
| Глава шестая. Хороним «Оттепель». | 106 |
| Глава седьмая. Alma Mater. | 118 |
| Глава восьмая. Робкие убийцы. | 158 |
| Глава девятая. Первый снег. | 175 |
| Финская граница. Финал. | 192 |



Представитель новейшего поколения русской прозы, Сергей Юрьенен родился в Германии в 1948. Жил в Ленинграде, Минске, Москве, учился в двух университетах, работал в журнале «Дружба народов». В 1977 издательство «Советский писатель» выпустило его первую книгу, сборник рассказов «По пути к дому». В том же году он был принят в Союз писателей СССР, после чего, отпущенный к жене-иностранке на Запад, выбрал свободу творчества. По эту сторону госграницы по-русски публиковался в журналах «Континент», «Третья волна», «Эхо», «Стрелец», в газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово». Его первый роман «Вольный стрелок» вышел по-французски в парижском издательстве «Акрополь» в 1980 г., по-русски в издательстве «Третья волна» в 1983 г. и в этом же году по-немецки в Западной Германии.

Роман «Нарушитель границы» в нынешнем году был опубликован по-французски издательством «Акрополь», и его высоко оценила парижская литературная критика.

Живет в Мюнхене и Париже.